



РУССКАЯ РЕЧЬ 1985

ЯНВАРЬ Научно-популярный журнал Института русского языка Академии наук СССР • Основан в 1967 году • Выходит 6 раз в год • Издательство «Наука» • Москва

ФЕВРАЛЬ

В НОМЕРЕ:

К 80-летию I русской революции

Е. Л. Лилеева. Язык и революция 3

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

К 125-летию со дня рождения А. П. Чехова

Л. А. Качаева. «Красочность и выразительность достигаются только простотой...» 8

Н. И. Фадеева. Своеобразие диалога в пьесе «Вишневый сад» 14

В. Н. Манакин. О языковом мастерстве А. П. Чехова 20

Н. Г. Михайловская. Про медведя и росомуху (О фольклорной традиции в современной литературе народов Севера) 24

КУЛЬТУРА РЕЧИ

К 85-летию со дня рождения Л. В. Успенского

Л. И. Скворцов. Рыцарь родного слова 30

Л. В. Успенский. Культура речи (отрывки из книги) 33

Л. А. Глинкина. «Весь ваш без церемоний...» (Речевой этикет в частных письмах XIX века) 39

В. И. Бедров. Диалог и метеоролог, библиограф и телеграф... (Судьба ударения в заимствованных словах) 46

ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ГОВОРИМ?

55

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

Виктор Владимирович Виноградов (1895—1969) 64

Наши публикации

А. А. Шахматов и В. В. Виноградов 70

Александр Иванович Попов (1899—1973) 75

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Л. Р. Ланский. В. И. Даль над корректурами Толкового словаря 79

Н. А. Кондрашов. Русский язык в трудах С. О. Карцевского 86

СРЕДИ КНИГ

| | |
|--|-----|
| <i>К. С. Горбачевич. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее</i> | 50 |
| <i>В. Г. Костомаров. Жизнь языка</i> | 53 |
| Словарь русского языка XVIII века (т. I) | 113 |

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

| | |
|--|----|
| <i>В. В. Дронов. Понять и быть понятым (Международная олимпиада школьников по русскому языку и литературе)</i> | 90 |
|--|----|

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

| | |
|---|-----|
| <i>К 800-летию «Слова о полку Игореве»</i> | |
| <i>М. Ф. Гетманец. Вчитываясь в «Слово...»</i> | 94 |
| <i>Э. Я. Гребнева. Где кричит «див»? (По материалам славянских переводов «Слова о полку Игореве»)</i> | 100 |
| <i>А. В. Голубева. «О ветре, ветрило!..»</i> | 103 |
| <i>В. Н. Миротворцев. Половецкие «тотемы» и «Слово о полку Игореве» (Заметки о прочитанном)</i> | 107 |

НА КАРТЕ РОДИНЫ

| | |
|--|-----|
| <i>И. Г. Добродомов, Е. С. Отин. Цимля</i> | 116 |
|--|-----|

ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА

| | |
|---|-----|
| <i>А. Л. Топорков. Почему «решетом свету напошено?»</i> | 121 |
| <i>Поэт и фольклор</i> | |
| <i>В. В. Лопатин, Э. А. Григорян. Три Черномора</i> | 124 |
| <i>Е. М. Бень. «Не пробуждай воспоминаний...»</i> | 132 |

РУССКИЕ ГОВОРЫ

| | |
|---|-----|
| <i>Н. Ю. Меркулов, Е. А. Нефедова. Боровик, коровка, славный (О названиях белого гриба в русских говорах)</i> | 139 |
|---|-----|

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

| | |
|---|-----|
| <i>К 40-летию Великой Победы</i> | |
| <i>Е. А. Левашов. «Катюша»</i> | 146 |
| <i>А. Г. Степанян. Доброта, милосердие...</i> | 149 |
| <i>Л. Б. Савенкова. Мелкая сошка</i> | 153 |

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

| | |
|-----------------------|-----|
| <i>Стой</i> | 157 |
|-----------------------|-----|

| | |
|------------------|-----|
| <i>Кроссворд</i> | 144 |
|------------------|-----|

На обложке: Памятник А. П. Чехову в Таганроге, Рисунок Б. Захарова

80 лет назад в январе 1905 года началась первая русская революция. В статье «Начало революции в России» 12(25) января 1905 года В. И. Ленин писал: «Величайшие исторические события происходят в России. Пролетариат восстал против царизма... Тысячи убитых и раненых — таковы итоги кровавого воскресенья 9 января в Петербурге... Революция разрастается» (Полн. собр. соч. Т. 9, с. 201, 202).

Революция 1905—1907 годов стала «генеральной ренетацией» Великого Октября. Она оставила свой след и в лексике русского языка. Слова, употребившиеся в этот период, широко представлены в работах и статьях В. И. Ленина, вошедших в 9—15 тома «Полного собрания сочинений».

«В столице 9 января грянул первый гром революционного выступления пролетариата. Раскаты этого грома пронесли по всей России, подняв с невиданной раньше быстротой свыше миллиона пролетариев на гигантскую борьбу» — так писал В. И. Ленин о начале революции (Полн. собр. соч. Т. 11, с. 313). Расстрел мирной демонстрации петербургских рабочих, которые направлялись с петицией к царю [этот день — 9 (22) января 1905 г. — вошел в историю под названием «Кровавое воскресенье»]; Октябрьская всероссийская политическая стачка; всеобщая политическая забастовка; волнения в армии и на флоте; Декабрьское вооруженное восстание рабочих в Москве; возникновение органов революционно-демократической диктатуры; царский манифест 17 октября 1905 года, обещавший гражданские свободы и законодательную Думу; объединение контрреволюционных сил; третьеиюньский государственный переворот — эти основные события революции 1905—1907 годов нашли отражение в лексике той эпохи, вызвали к жизни много новых слов, устойчивых сочетаний и новых значений у старых слов. Далекое не все из них задержались в словарном составе общелитературного языка, большинство быстро становились историзмами (их мы встречаем в

К 80-летию I русской революции

ЯЗЫК И РЕВОЛЮЦИЯ



специальных — исторических, политических — словарях), а отдельные слова-«однодневки» живут только в публицистике тех лет.

Но перечитывая толковые словари русского языка, мы иногда слышим эхо революционных событий, так как некоторые слова и значения слов, возникшие тогда, в словари включены: *кадет* — в дореволюционной России — член или сторонник контрреволюционной конституционно-демократической партии; *октябрист* — в дореволюционной России — член или сторонник русской правобуржуазной монархической партии «Союз 17-го октября», представлявшей интересы помещиков и крупной торгово-промышленной буржуазии; *трудовик* — в дореволюционной России в начале XX века — член мелкобуржуазной демократической партии народнического направления в Государственной думе; *черносотенец* — участник «черных сотен» — реакционно-монархических погромных банд, возникших в период революции 1905—1907 гг.; а также производные от этих слов: *кадетский*, *черносотенник*, *черносотенный*, *черносотенство* (см.: 17-томный Словарь).

В работах В. И. Ленина круг производных от существительного *черносотенец* гораздо шире, особенно много сложных прилагательных: *черносотенно-буржуазный*, *черносотенно-военный*, *черносотенно-кадетский*, *черносотенно-октябристский*, *черносотенно-погромный* и другие.

Величайшим историческим завоеванием рабочего класса в первой русской революции было создание во многих городах Советов рабочих и солдатских депутатов. В. И. Ленин в статьях «Наши задачи и Совет рабочих депутатов», «Умиряющее самодержавие и новые органы народной власти» и др. теоретически разработал вопрос о Советах. «Мне кажется, что в качестве профессиональной организации Совет рабочих депутатов должен *стремиться* к тому, чтобы включить в свой состав депутатов от *всех* рабочих, служащих, прислуги, батраков и т. д., *всех*, кто только хочет и может бороться сообща за улучшение жизни всего трудящегося народа, *всех*, кто обладает только элементарной политической честностью, *всех*, кроме черносотенцев» (т. 12, с. 62—63); «...в политическом отношении Совет рабочих депутатов следует рассматривать как зародыш *временного революционного правительства*» (т. 12, с. 63).

Таким образом, зарождение нового значения у слова *совет*, которое в толковых словарях определяется как «орган государственной власти, осуществляющий диктатуру про-

летариата и являющийся формой политической организации социалистического общества», произошло в период подъема революции 1905—1907 годов.

Характерной особенностью языка революционной публицистики является широкое употребление цветowych прилагательных в политическом значении. Слово *черный* закрепляет значение «крайне реакционный, контрреволюционный», а *красный* — «революционный, относящийся к революционной деятельности». Прилагательное *черный* в указанном значении включается в такой синонимический ряд, как *реакционный, контрреволюционный, крайне правый, монархический, правительственный, помещичий, черносотенный*, и сочетается с широким кругом существительных: *реакция, силы, список, рать, опасность, банда, партии, газеты, печать, Дума, участки, армия* и др. Например: «Гражданская война не знает нейтральных. Кто сторонится от нее, тот поддерживает своей пассивностью ликующих черносотенцев. На красную и черную армию распадается и войско» (т. 12, с. 57).

Черными В. И. Ленин называет правительственные партии; *черный список* — это список октябристов и кадетов; *черные участки* — избирательные участки, где была опасность победы черных партий; *черная печать, черные газеты* — печатные органы правительственных партий. После 1917 года *черный* в таком значении употребляется очень редко, его вытесняет слово *белый*.

В работах В. И. Ленина, написанных в период революции, впервые раскрывается символика *красного знамени*. «Но красное знамя означает не только поддержку пролетариатом крестьянских требований. Оно означает еще самостоятельные требования пролетариата. Оно означает борьбу не только за землю и за волю, но и борьбу против всякой эксплуатации человека человеком, борьбу против нищеты народных масс, борьбу против господства капитала» (т. 12, с. 96); «Крестьяне должны знать, что красное знамя, которое поднято в городах, есть знамя борьбы за ближайшие и насущные требования не только промышленных и сельских рабочих, но и за требования миллионов и десятков миллионов мелких земледельцев» (там же); *красный флаг* — «есть знамя всех трудящихся и эксплуатируемых во всем мире» (т. 12, с. 58).

Наиболее интенсивно пополнялся класс существительных, обозначающих людей по их принадлежности к партиям, политическим группам. Русская революция «в са-

мое короткое время наметила крупные типы политических партий, соответствующие всем основным классам русского общества», — писал В. И. Ленин (т. 14, с. 26). Кроме крупных буржуазных партий, возникало большое количество мелких, которые быстро прекращали свое существование. Наименования членов этих партий иногда в течение очень короткого времени становились историзмами, например: *правопорядцы*, *правопорядочники* — члены партии правового порядка; *мирнообновленцы* — члены партии мирного обновления, которую Ленин называл «партией мирного ограбления»; *прогрессисты* — члены прогрессивно-промышленной партии; *независимцы* — члены провокаторской организации «Независимая социальная рабочая партия»; *конституционалист* — член партии кадетов и др.

Своеобразную группу среди этих существительных составляют сокращенные наименования членов партий: *кадеты* — от названия первых букв слов *конституционный демократ* (к.-д.), по созвучию со словом *кадет* (воспитанник кадетского корпуса в дореволюционной России); *мелоны* — члены партии *мирного обновления*; *педераки* — ироническое название членов *партии демократических реформ (ПДР)*; *энесы* — члены *трудовой народно-социалистической партии* (н.-с.); *эндэки* — члены партии *народовцев в Польше (народовы демократы, н.-д.)*; *диск* — *Демократический союз конституционалистов*; *серые* — ироническое наименование партии *социалистов-революционеров* (простонародное название букв *с* и *р* в сокращении *с.-р.+й*). Вот употребление этого слова в ленинских текстах: «Они [трудовики] стоят на полдороге: между кадетами и „серыми“ (партия социалистов-народников)», но они все больше удаляются от кадетов и все больше приближаются к „серым“» (т. 13, с. 123).

В статье «Опыт классификации русских политических партий» В. И. Ленин раскрывает политическое кредо основных типов политических партий: «Кадет — типичный буржуазный интеллигент и частью даже либеральный помещик. Сделка с монархией, прекращение революции — его основное стремление. Неспособный совершенно к борьбе, кадет — настоящий маклер. Его идеал — увековечение буржуазной эксплуатации в упорядоченных, цивилизованных, парламентарных формах. ...Типичный октябрист — не буржуазный интеллигент, а крупный буржуа. Он — не идеолог буржуазного общества, а его непосредственный хозяин» (т. 14, с. 25).

Большое количество слов образовано от фамилий государственных деятелей, царских прислужников, кровавых палачей русской революции: *гапоновщина, гапонада, горемычники, булыгинский, гучковец, шиповщина, шиповский, шиповец, зубатовщина, дубасовский, дубасовско-шиповский, треповщина, треповский, столыпинщина, столыпинский* и др. *Гапоновщина* (от фамилии священника Гапона, руководителя, инициатора шествия к Зимнему дворцу) — попытка русского царизма отвлечь рабочих от революционной борьбы путем создания рабочих организаций под контролем правительства (Советский энциклопедический словарь). Приведем примеры из работ В. И. Ленина: «... в 1905 году оно [революционное движение] начиналось с массовых стачек и гапонады» (т. 21, с. 350); «Русская революция началась с того, что царя просили даровать свободу. Расстрелы, реакция, треповщина не задавили, а разожгли движение. Революция сделала второй шаг. Она вырвала силой у царя признание свободы. Она, с оружием в руках, отстаивала эту свободу. Сразу не отстояла. Расстрелы, реакция, дубасовщина не задавят, а разожгут движение» (т. 12, с. 181—182); «Россию расстреливали не только треповские пулеметы, но и кадетско-французские миллионы» (т. 15, с. 32). [Дубасов Ф. В. — адмирал, один из главарей царской реакции, с ноября 1905 года — московский генерал-губернатор, руководил разгромом Декабрьского вооруженного восстания. Трепов Д. Ф. — с января 1905 года петербургский генерал-губернатор, вдохновитель черносотенных погромов.]

Из окказиональных слов необходимо отметить активное функционирование слова *четырёххвостка* — сокращенное название демократической избирательной системы, включающей четыре требования, за которые боролись в годы революции: всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право. У В. И. Ленина это слово поясняется: «Мы добились широчайшего распространения ненавистой либералам „*четырёххвостки*“ (всеобщее, прямое, равное, тайное голосование)» (т. 11, с. 207).

Все слова, широко употреблявшиеся в годы первой русской революции, как вошедшие в словари, так и не вошедшие, являются «живыми свидетелями» этого величайшего исторического события первого десятилетия XX века. Они составляют значительный пласт лексики в ленинском словнике.

Е. Л. ЛИЛЕЕВА,
кандидат филологических наук

«КРАСОЧНОСТЬ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ДОСТИГАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРОСТОТОЙ...»



Антон Павлович Чехов всегда утверждал принцип сдержанного, внешне не выявленного авторского повествования. Однако в чеховском «подтексте» заключается то психологическое содержание, которое эмоционально «взрывает» изображаемое. «Он не говорит нового, но то, что он говорит, выходит у него потрясающе убедительно и просто, до ужаса просто и ясно», — писал о Чехове А. М. Горький.

Попытаемся показать на примере пейзажных описаний в прозе Чехова, как изображение природы в реалистическом искусстве всегда прямо и непосредственно связано с особенностями авторского видения мира.

Писатель, по мнению Чехова, должен быть, во-первых, прост и краток («красочность и выразительность в описаниях природы достигаются только простотой, такими простыми фразами, как „зашло солнце“, „стало темно“, „пошел дождь“ и т. д.»), во-вторых, изобразительно достоверен («описание природы должно быть прежде всего картинно»). И он сам неизменно следует этим своим установкам.

Как и многие русские писатели, Чехов прошел школу замечательного мастера словесного пейзажа И. С. Тургенева. Однако рамки тургеневской манеры, с ее пространственными описаниями, насыщенной изобразительностью, глубокой метафоричностью, были тесны для Чехова. «Описа-

К 125-летию
со дня рождения
А. П. Чехова



ния природы хороши, — писал о Тургеневе Чехов, — но... нужно что-то другое». Это «другое» у Чехова — как раз в «безэмоциональной эмоциональности», создаваемой в подтекстах пейзажных описаний «пропущенностью» их через мир человеческих впечатлений.

Именно поэтому в его пейзажах очень часто появляются слова и синтаксические конструкции, тяготеющие к безличному употреблению: *представлялось, казалось, хотелось, похоже было, стало грустно, слышно было, вспомнилось, чувствовалось, было страшно* и т. п. С этим же связано и частое использование неопределенных местоимений и наречий (*что-то, какой-то, где-то, почему-то*), вводных слов со значением предположения и догадки (*вероятно, должно быть, может быть, кажется*), сравнительных союзов и частиц (*точно, будто, как будто*): «В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать» (Невеста).

За счет таких языковых средств писатель создает определенное настроение, пейзажи передают именно впечатления героев. В описаниях существенную роль играет чувство, и не случайно Л. Н. Толстой сравнивал чеховские

рассказы с полотнами импрессионистов. Это же отмечают и многие исследователи его творчества: «У Чехова импрессионистические начала свойственны как пейзажным описаниям, так и психологическому анализу характеров» (Вал. Гейдеко. А. Чехов и Ив. Бунин. М., 1976).

Писатель все время ищет и находит живые связи между природой и человеком, который неотделим у него от вечной, прекрасной, таинственной природы: «Учитель гимназии вышел из сарая...

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и все благополучно» (Человек в футляре).

*

В пейзажах Чехова мы, как правило, не находим большого количества красочных описаний. В них мало цвета, и это особенно бросается в глаза, если сравнить, например, чеховские пейзажи с пейзажами И. А. Бунина или А. И. Куприна, у которых — величайшее разнообразие красок и средств словесного воплощения картин природы в цвете. Вот только один пример из рассказа «Столетник» Куприна. Показывая «великолепные сорта роз всевозможных оттенков: *пурпурного, ярко-красного, пунцового, коричневого, розового, темно-желтого, палевого, нежно-желтого и ослепительно-белого*», автор детально перечисляет всю колористическую гамму цветов. В той же ситуации Чехов только намечает возможные границы цветовых признаков: «Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, *начиная с ярко-белого и кончая черным, как сажа*, ...Коврину не случилось видеть нигде в другом месте» (Черный монах). Чрезвычайный лаконизм и сдержанность свойственны Чехову. Пейзажи, где есть яркие цветовые детали и броские метафоры, у него очень редки: «Солнце легло спать и укры-

лось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу» (В овраге).

Лишь при изображении цветущей степи, моря и, в особенности, пожаров чеховские краски становятся более разнообразными и яркими: «Степь, степь... Лошади бегут, солнце все выше, и кажется, что тогда, в детстве, степь не бывала в июне такой богатой, такой пышной; травы в цвету — зеленые, желтые, лиловые, белые, и от них, и от нагретой земли идет аромат; и какие-то странные синие птицы по дороге...» (В родном углу). В этих случаях писатель позволяет себе использовать и образные эпитеты, и необычные сравнения, и броские метафоры: «Вся южная сторона неба густо залита багровым заревом. Небо воспалено, напряжено, зловещая краска мигает на нем и дрожит, точно пульсирует. На громадном, багрово-матовом фоне рельефно вырисовываются облака, бугры, оголенные деревья» (Недобрая ночь).

Излюбленный прием Чехова при изображении природы, особенно ночной, — это показ светотени; недаром преобладающими цветами у него оказываются белый, черный и красный. В описаниях часты прилагательные *светлый, темный, бледный, тусклый*, существительные *свет, тень, мгла, туман, отблеск*, глаголы *блестеть, светиться, отражаться* и т. п., так как в большинстве случаев Чехов передает не сами краски, а их отражения, отблески: «Луна уже ушла от двора и стояла за церковью. Одна сторона улицы была залита лунным светом, а другая чернела от теней...» (Бабы); «На дворе было тихо; деревья по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд» (Дом с мезонином).

Особенно важными оказываются у Чехова лунные пейзажи: лунный свет делает ночи колдовскими и загадочными и заставляет героев каждый раз по-своему осмысливать окружающее, вспоминать прошлое, думать о будущем: «В саду было тихо и тепло... Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, негустого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом, и, что надолго осталось в памяти Огнева, ключья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за дружкой поперек аллей. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял

только из черных силуэтов и бродивших белых теней...» (Верочка); «О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова» (Степь).

При описании природы Чехов часто использует метафоры и метафорические эпитеты: «Луна взошла сильно багровая и *змурая*, точно больная; звезды тоже *змурились*, мгла была гуще, даль мутнее» (Степь). Художник стремится к максимальной «объективизации» своих метафор — разъясняет, оправдывает необычность характеристик: «Была грустная августовская ночь, — грустная, потому, что пахло осенью...» (Дом с мезонином). В чеховских метафорах и сравнениях оказывается довольно значительным и пласт лексикки, прямо называющей человеческие чувства и состояния: «Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. *Было страшно*» (Палата № 6). Используются здесь и слова, прямо передающие оценки: «*хорош и мягок* лунный свет, точно здесь его колыбель» (Ионыч); «Когда человек неудовлетворен и чувствует себя несчастным, то какую *пошлостью* веет на него от этих лип, теней, облаков, от всех этих красот природы, *самодовольных и равнодушных!*» (Три года).

Все это способствует максимальной одушевленности картин природы у Чехова. В результате пейзажные зарисовки позволяют писателю давать одновременно и характеристики душевного состояния героев: «Луна светила ярко, можно было разглядеть на земле каждую соломинку, и Лаптеву казалось, будто лунный свет ласкает его непокрытую голову, точно кто пухом проводит по волосам» (Три года). Такие пейзажи не могут быть ни фоном, ни аккомпанементом событий, они создают настроение. Контрастное противопоставление ярких красок южного моря «Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была *сиреневого* цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла *золотая* полоса» и унылого серого забора («тянулся забор, *серый*, длинный, с гвоздями») в сочетании с другими серыми предметами в городе С. позволяет А. П. Чехову в «Даме с собачкой» выразить страшную и в то же время привычную в своей обыденности мысль о невозможности соединения двух по-настоящему любящих людей. А печальный осенний

пейзаж в «Попрыгунье» обрамляет ушедшую уже любовь героев: «А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все, все напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны...»

Иногда пейзаж окрашивает всю нравственную атмосферу произведения. На всем протяжении поездки через степь окружает маленького Егорушку природа — такая могущественная, величественная, непостижимая и разная: это и тихое утро, и грозовая ночь, и знойный полдень. И смутно ощущает Егорушка за ближними полями и дорогами необозримую даль, имя которой — родная земля, родина, Россия: «Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони» (Степь).

*

Вот так, действительно, самые простые, обыкновенные слова позволяют замечательному русскому писателю в пейзажных зарисовках выражать удивительно глубокие мысли, воплощать сложное по силе эмоционального и эстетического воздействия содержание. Художник говорит одинаковым тоном о больших и малых вещах, но во всем — в сюжетах, в портретах и характерах, в пейзажах — проявляется то неповторимое, «чеховское», что создало совершенно новую манеру художественного повествования.

*Л. А. КАЧАЕВА,
кандидат филологических наук
Рисунки В. Леонова*

СВОЕОБРАЗИЕ ДИАЛОГА В ПЬЕСЕ «ВИШНЕВЫЙ САД»



Вишневый сад» справедливо считается «лебединой песней» Чехова-драматурга. Новаторские поиски ранних драматургических опытов — в сфере композиции, структуры, стиля — слились здесь в гармоническое единство. Тем не менее даже почитатели таланта Чехова

не сразу приняли пьесу, так необычна она была даже для новаторского творчества драматурга. Споры шли вокруг героев, конфликта, самого определения ее как комедии. Действительно, если вдуматься, события, происходящие в «Вишневом саде», драматичны по существу: продажа вишневого сада, крушение семьи и даже целого дворянского рода. Однако то, что могло стать драмой, состоялось как комедия, хотя это балансирование между драмой и комедией постоянно ощущается. Яснее и очевиднее всего это проявляется в неповторимом стиле «Вишневого сада».

Специфика драмы как литературного рода заключается прежде всего в диалогичности ее структуры. Формальные особенности диалога воплощаются в языке персонажей.

Первое, что бросается в глаза при чтении пьесы, это обилие курьезных синтаксических оборотов, разного рода лингвистических казусов. Особенно щедры эксперименты в языке Елиходова. Его речь отличается последовательным неправильным употреблением отдельных слов и словосочетаний, предложений, конструкций. Первые же его слова выдают, что законы синтаксиса над ним не властны: «Не могу одобрить нашего климата... Наш климат не

может способствовать в самый раз». (Цитируется: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Т. 12—13, М., 1978). К синтаксической ошибке добавляется логическая несообразность, немотивированность смыслового завершения высказывания: «Вот, Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности». Если же ему удастся совладать с логикой языка, то логика мысли, «согласование» и «управление» смыслового порядка для него исключены. Так, на просьбу Дуняши принести тальмочку, он отвечает: «Хорошо-с... принесу-с... Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером...» Нелепая манера говорить невпопад выражает душевное состояние Епиходова, человека, который читал Бокля и размышлял о смысле жизни, который любит женщину, не отвечающую ему взаимностью. За персонажем, наделенным комической речевой стихией, проглядывает потенциальный герой истинной драмы.

Мелодраматическая стихия затрагивает и Дуняшу, но без драматического фона, который угадывается за фигурой Епиходова. По ее собственным словам, она стала нежная, деликатная и всего боится. В результате такого построения фразы в одном ряду как однородные и равноправные члены оказываются такие понятия, как деликатность, благородство и беспредметный страх перед всем.

Но это, так сказать, «стилистический конфликт» низшего порядка, ибо он очевиден и откровенен. Более сложные случаи представляют собой речевые сферы Гаева и Любови Андреевны.

Образ Гаева возникает на стыке фарса (состояние проел на леденцах) и психологической драмы (человек, потерявший убеждения, в результате чего революционная когда-то фраза превратилась во фразерство). Поэтому-то его речевая характеристика также строится на сочетании грамматической правильности и понятийной несовместимости. Так, возвращаясь с аукциона, он сообщает прежде всего, что голоден. Плача, он передает Фирсу анчоусы и керченские сельди со словами: «Я сегодня ничего не ел... Сколько я выстрадал!». Деликатесы должны успокоить его душевное волнение, снять страдание, и, приобретая несколько гастрономический оттенок, оно само становится сомнительным. Доносящиеся из бильярдной привычные слова «Семь и восемнадцать!»

стирают слезы, и очень скоро гаевское страдание переходит в радость. Пародийное снижение образа не только подразумевается в подтексте, потеря состояния здесь превращается в фарс в самом тексте. В I действии Гаев клянется честью, счастьем, что не допустит продажи имения и сада, а в последнем действии состоявшийся аукцион он провозглашает едва ли не спасением: «В самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже...» Это своего рода ложный финал: то, что традиционно считалось несчастьем, для них обернулось радостью и избавлением, то, что они сами представляли как полный крах, стало их спасением.

Сложнее образ Любви Андреевны. Пережитое страдание, непростая судьба, способность глубоко чувствовать и поэтически выражать свои мысли — все это возвышает ее над многими персонажами пьесы, но и этот образ, пронизанный лиризмом, не избежал некоторого снижения. Восторг Любви Андреевны по поводу возвращения на родину, выражающийся в том, что ей хочется прыгать, размахивать руками, вызывает у нее прочувствованное слово: «Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала». Но этот лирико-патетический монолог заканчивается самым прозаическим образом: «Однако же надо пить кофе». Любовь к кофе и к родине оказываются рядом почти так же, как у Дуняши деликатность и любовь к нежным словам, только ассоциативный ряд шире.

Полностью на подобном стилевом диссонансе построена речь Лопахина. В нем удивительным образом сочетаются деловая хватка кушца, тонкие пальцы и нежная душа артиста. Отец его был простым мужиком, который и сам ничего не понимал, и сына, по словам Лопахина, ничему не учил, а только бил, когда был пьян. В его речи поэтому много просторечных слов и оборотов типа «Я-то хорош, какого дурака свалял!», «Ничему не обучался, по черк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья» и т. д. Вместе с тем ему свойственна широта мышления, поэтичность стиля, он способен, как и Раневская, глубоко чувствовать и изящно выражать свои мысли. Разговор с Трофимовым он ведет на равных: «Иной раз, когда не спится, я думаю: господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты,

и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...» Так может говорить художник или мыслитель.

Иногда это сочетание разных начал проявляется в одном смысловом отрывке, когда Лопухин говорит как бы на два голоса: «Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина! Так вот я, говорю, заработал сорок тысяч и, значит, предлагаю тебе взаймы...». Деловая информативность стиля дельца сменяется восторженным восклицанием художника, вновь уступая место деловому стилю. Стилистическое «двухголосие» в данном случае призвано отражать сложную, противоречивую натуру героя, совмещающего в себе черты артиста и купца, дельца и наследника длинной галереи лишних людей с их неспособностью дать счастье.

Мы видим, что смещение стилистически несочетаемого, по-разному выраженное, проявляется в речи почти каждого героя (за исключением образа Яши, выписанного однотонной краской), идя по пути усложнения. Но можно выделить еще один тип «стилистического конфликта», возникающего на почве несоответствия слова и жеста. Классическим примером этого может служить знаменитый монолог Гаева, обращенный к шкафу. Здесь нет ни синтаксического «правонарушения» Епиходова, ни логически-понятийной абсурдности Гаева, и тем не менее ему не удается оставаться в ладах с языком, оставаться на высоком уровне произносимых слов, ибо стиль юбилейной речи самопародируется из-за объекта, к которому обращена речь.

Прием этот используется Чеховым неоднократно. Он прибегнет к нему и при создании такого сложного образа, как Петя Трофимов. Его автор наделяет редкой способностью владеть словом, способностью «глаголом жечь сердца людей»: ведь именно он уводит Аню в новую жизнь. Но и он не соответствует полностью чеховскому идеалу, и стилистически это выражено как несоответствие слова и жеста, которое перечеркивает значение внешне нейтрального слова. Например, сцена между Любовью Андреевной и Петей, когда тот желает проповедовать ей истину, как будто завершается драматическим разрывом, патетическим Петиным «Между нами все кончено!», но истинная развязка этой сцены — падение Пети с лестницы — носит не только комический, но даже фарсовый ха-

рактически. Это балансирование между драмой и фарсом снижает героический ореол с образа Пети.

И, наконец, самая сложная ситуация возникает тогда, когда герои вступают в контакт друг с другом. Давно замечено, что чеховский диалог — это так называемый «глухой диалог», при котором люди говорят не последовательно, а параллельно, не связаны речью, а разъединены ею. Элементарной моделью такого диалога может служить сцена из I действия:

Любовь Андреевна: ... Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив.

Фирс. Позавчера.

Это пример «глухого диалога» в прямом смысле, так как Фирс плохо слышит. Но в такого же рода диалогические ситуации постоянно попадают чеховские герои, выдавая тем самым свою душевную глухоту. Продолжение этой сцены развивается целиком по той же модели:

Лопухин: ... Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную ... больше, чем родную.

Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии <...> Я не переживу этой радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шкафик мой родной... <...> Столик мой.

В ответ на проникновенные слова живого человека она обращается к шкафику, столику, при сообщении о смерти няни пьет кофе и т. д. Вещи приобретают значительно большее значение, чем душевное состояние близкого человека, и эта внутренняя глухота в значительной мере корректирует ее «хорошую, чистую душу».

Необходимо оговориться, что этот «глухой диалог» не всегда действительно «глухой», и подчас при внешней несвязности обнаруживает глубокий внутренний смысл. Например, II действие открывают раздумья Шарлотты о своей судьбе, о своем одиночестве. Эпиходов же, сразу вслед за этими словами, практически на их фоне, напевает романс «Что мне до шумного света...». Истинное одиночество Шарлотты сопровождается показной позой Эпиходова. Внешне начало действия никак не связано и на первый взгляд представляет собой минимальную конструкцию «глухого диалога». Но здесь структура усложняется. При внешнем несоответствии обнаруживается внутренняя противоположность, когда истинное чувство

одного оказывается для другого лишь поводом для «жесточкого романа».

Возможен и другой случай, когда внешне никак не связанный диалог оказывается внутренне значимым, содержательно обусловленным. Так, в начале II действия происходит следующая сцена:

«Лопахин. Только одно слово! <...> Дайте же мне ответ!

Гаев. <...> Кого?

Любовь Андреевна (*глядит в свое портмоне*). Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Бедная моя Варя из экономии кормит всех молочным супом, на кухне старикам дают один горох, а я трачу как-то бессмысленно... (*Уронила портмоне, рассыпала золотые*)...»

На первый взгляд кажется, что реплика Любови Андреевны носит посторонний характер и логически не связана с репликой Лопахина. Он требует, вернее, умоляет (такова ремарка автора) дать решительный ответ. Раневская же размышляет о своей жизни, привычках и характере, о том, что, не умея зарабатывать, она легко тратит деньги, легко и «бессмысленно». Невольно она дает понять, что не ей, с ее отношением к деньгам, дельцам и вообще делу, спасать имение. В этом размышлении — ее истинный ответ Лопахину, хотя формально и не связанный с его репликой. Так, при внешней логической немотивированности возникает внутренне глубоко содержательная реплика, дающая отнюдь не «глухой» ответ. В данном случае, под маской «глухого диалога» скрывается диалог, «разоблачающий» внутреннюю сущность личности в ее отношениях к миру.

Стилистическое построение «Вишневого сада» очень сложно: от элементарных синтаксических ошибок к более сложному типу построения речи героя, представляющему собой единство лингвистической безупречности и понятийной немотивированности. Еще более сложной стилистической организацией текста представляется несоответствие слова и жеста; и, наконец, вершиной мастерства предстает знаменитый чеховский диалог, то реально, то ложно «глухой», но всегда многозначительный и потому требующий внимательного прочтения. Поэтому именно тщательное изучение поэтики чеховского диалога может стать ключом к самым разнообразным и сложным проблемам чеховского театра.

Н. И. ФАДЕЕВА
Калинин

О ЯЗЫКОВОМ МАСТЕРСТВЕ А. П. ЧЕХОВА



Ч

ехов вошел в историю литературы как обличитель пошлости в самых различных ее проявлениях. Для решения своей идейной задачи художник использовал разнообразные эстетические приемы, в том числе и языковые. Познание их дает ключ к объяснению тайн че-

ховского повествования, определению индивидуально-стилистических особенностей великого мастера слова.

Исследователи творчества Чехова давно подметили излюбленный художественный прием писателя — повторение одной и той же детали, которая определенным образом характеризует персонажей. Вспомним, к примеру, рассказ «Ионыч», где в пятой, заключительной, главе дословно воспроизводится описание жизни семьи Туркиных, представленное в первой главе: «Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре» (Цитируется по изданию: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. М., 1974).

Это характерно и для многих других произведений, таких, как «Попрыгунья», «Учитель словесности», «Ариадна», «Дом с мезонином». И если сопоставить подобные повторяющиеся в этих произведениях фрагменты, то можно обнаружить их смысловую общность: все они передают однообразие, духовный застой в жизни персонажей. Срав-

ним примеры: «Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел...» (Попрыгунья); «А ночью опять катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане. <...> И после этого жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковник и Володя маленький играли подолгу на бильярде и в пикет, Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты, Софья Львовна все ездила на извозчике...» (Володя большой и Володя маленький); «Опять Полянский водил по всем комнатам *grand-gond*, опять после танцев играли в судьбу» (Учитель словесности); «Мы играли в крокет и *lown-tennis*, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине...» (Дом с мезонином) и т. п.

Данные фрагменты, помимо того, что они по два-три раза воспроизводятся в каждом отдельном произведении, как видим, очень похожи друг на друга и составляют неотъемлемую часть чеховского повествования. Все они объединяются общим смысловым признаком, указывающим на однообразие, а следовательно, бездуховность, пошлость жизни, отраженной в этих произведениях.

Для передачи однообразия существования своих персонажей Чехов из рассказа в рассказ переносит не только одни и те же слова, которые сообщают о повторяемости, периодичности событий (*всякий раз, по-прежнему, опять* и др.), но и целые фразы, предложения, рисующие неизменный в своей пошлости образ жизни самых разных персонажей. Меняются только названия игр в этих картинках-характеристиках: *пикет, бильярд, крокет, lown-tennis...*

Отмеченная особенность — только один из способов передачи однообразия жизни в произведениях Чехова. Другим, менее явным, но в такой же степени эстетически значимым средством, передающим повторяемость событий, монотонность жизни, является особое употребление в различных произведениях писателя глагольно-временных форм. Заметим, кстати, что смысловое сближение приведенных выше фрагментов достигается также включением в них одних и тех же грамматических форм глагола: *читал, рисовали, играли* и т. п.

Наблюдения показывают, что для стиля писателя в целом характерно то, что события в авторской речи пе-

редаются преимущественно в одном грамматическом времени. Причем если повествование строится в прошедшем времени, то преимущество отдается глаголам несовершенного вида, а это в значительной степени усиливает семантику однообразия, периодичности событий. Данная закономерность выдерживается и в последнем рассказе Чехова «Невеста», где, как известно, отсутствие «перемен» является главной причиной ухода Нади Шуминой в новую жизнь. Обратим внимание на эти глаголы: «...Наде <...> видно было, как в зале *накрывали* на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье *суетилась* бабушка; отец Андрей ... *говорил* о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной...» И далее: «Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там *спешили*, как *стучали* ножами, как *хлопали* дверью на блоке...» (курсив здесь и далее мой — В. М.) и т. п.

Однако наиболее ярко семантика однообразия обнаруживается в тех произведениях писателя, где события передаются через настоящее время глаголов. Обычно оно употребляется вместо прошедшего для оживления описания, придания ему большей изобразительности. Этой цели у Чехова очень часто сопутствует еще и другая, эстетически более важная: показать гнетущую повседневность, которой живут герои или которая их окружает.

Показательна в этом отношении повесть «Скучная история», представляющая собой дневниковые записки профессора на склоне своих лет. Для дневников, как известно, в большей мере характерно (да и естественно) повествование в прошедшем времени. В чеховской повести эта закономерность не выдерживается, и все авторское повествование строится с употреблением настоящего времени глаголов: «Затем она [жена.— В. М.] *тушит* лампу, *садится* около стола и *начинает говорить*»; «После обеда я *иду* к себе в кабинет и *закуриваю* там свою трубочку...»; «По обыкновению, она [Катя.— В. М.] *лежит* на турецком диване или на кушетке и *читает* что-нибудь»; «*Входит* горничная и *зовет* нас пить чай»; «Михаил Федорович *берет* с этажерки две колоды карт и *раскладывает* пасьянс» и т. п.

Такое употребление настоящего времени глаголов *тушит*, *садится*, *начинает говорить*, *иду*, *закуриваю* имеет несомненную эстетическую обусловленность. Действия, о которых повествует рассказчик-персонаж, представля-

ются многократно повторяющимися. Все это накладывает на описываемые события определенный смысловой отпечаток, не назойливо — по-чеховски —, но неуклонно и последовательно создает картину однообразия жизни.

Любопытно проследить употребление видо-временных форм глагола в одном из самых значительных рассказов Чехова «Ионыч». Рассказ состоит из пяти глав. Действие в первых трех главах, когда доктор Старцев еще молод и деятелен, передается глаголами прошедшего времени и преимущественно совершенного вида: «В городе он *пообедал, погулял* в саду...»; «Старцев *оставил* лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам *пошел* на кладбище пешком...» и т. п. В четвертой главе, где духовная деградация персонажа приближается к завершению, употребляются глаголы в форме прошедшего времени, но уже преимущественно несовершенного вида, в чем выражается периодичность, повторяемость действий, привычное однообразие, которое заполняет жизнь Старцева: «Каждое утро он спешно *принимал* больных у себя в Дялиже, потом *уезжал* к городским больным ... и *возвращался* домой поздно ночью»; «Старцев *бывал* в разных домах и *встречал* много людей, но ни с кем *не сходил*ся близко»; «От таких развлечений, как театр и концерты, он *уклонялся*, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением» и т. п.

В пятой, заключительной, главе повествование строится с употреблением глаголов в форме настоящего времени. И это не случайно: жизнь, к которой пришел Старцев, уже не получит дальнейшего развития, персонаж нашел неизменное и обыденное для себя состояние. Эволюция завершилась, Ионыч стал частицей всеобщего однообразия жизни: «Старцев ... тяжело *дышит* и уже *ходит*, откинув назад голову»; «... он без церемонии *идет* в этот дом (...), *тычет* во все двери палкой и *говорит*:

«— Это кабинет? Это спальня? А тут что?»

И при этом тяжело *дышит* и *вытирает* со лба пот»; «По вечерам он *играет* в клубе в винт и потом *сидит* один за большим столом и *ужинает*».

Можно отметить, таким образом, что однообразие как проявление пошлости жизни и духовного застоя героев нашло последовательное выражение в языке произведений великого знатока человеческих душ А. П. Чехова.

В. Н. МАНАКИН
Кировоград



ПРО МЕДВЕДЯ И РОСОМАХУ

О фольклорной традиции в современной литературе
народов Севера

Обращение к легендам и преданиям своего народа отмечается в творчестве многих советских писателей. Художественное освоение фольклорных мотивов становится в произведении современного автора действенным сюжетно-тематическим и литературным приемом. Характерно оно и для тех национальных авторов, которые создают свои произведения на русском языке (или сами переводят свои произведения на русский язык). Конечно, формы отражения народной поэтической традиции в литературе зависят от индивидуального стиля писателя, но в то же время у писателей одного региона можно установить и некоторую общность.

В чем же проявляется эта общность в близких литературах и как видоизменяются фольклорные образы в зависимости от индивидуального стиля автора? Рассмотрим этот вопрос на примере русскоязычной литературы Севера и Дальнего Востока.

В северном фольклоре, как и в фольклоре других народов, действуют персонажи животного мира. Подобно своим собратьям из русских сказок, они наделены многими человеческими чертами и качествами; как и персонажи-люди, персонажи-животные разделяются на «положительных» и «отрицательных». По данным признакам в фольклоре северных народов противопоставлены медведь и росомаха. О сходстве представлений об этих животных у мансийского и нивхского народов можно судить по тем произведениям, где северные авторы пишут о национальных традициях и

обычаях. Сравним два примера из очерков Владимира Санги и Ювана Шесталова: «Еще совсем недавно нивхи говорили о медведе только почтительно. „Мок — добрый“ — вот как называли его взрослые при детях, утверждая этим посредничество медведя между землянами и таинственным всемогущим, от которого якобы зависит благополучие людей» (Санги. Последняя дань обычаю); «Медведя не называют, а величают иносказательно: „оп“. И не говорят „убили“, а „низвели“. Услышит медведь — обидится. Зачем обижать родственников?» (Шесталов. От загадки к искусству).

Не менее показательны художественные тексты, в которых широко используется прием «рассказа в рассказе». Приведем отрывок из повести Ю. Шесталова «Тайна Сорни-най»: «На таком дереве Илья-Аки (...) вырубал тамгу медведя, говоря: — Выберется оп из берлоги, поплетется по тайге, разбирая знаки и письма, оставленные человеком на деревьях, наткнется на нашу зарубку и сверху оставит свою. «Ага,— воскликнет он, разглядывая причудливые знаки,— человек хочет вознестись надо мной. Не выйдет!» С этой думой медведь оставляет на дереве свою тамгу, знак своего превосходства. На другой год человек на том же дереве повыше делает зарубку. И когда снова к этому дереву придет хозяин леса, подивясь высоте и умению человека, медведь под этим деревом роет себе гнездо, где и застанет зимой его охотник, устроив затем медвежье игрище... На этом таинственном представлении, кружась в танцах, забываясь в музыке, воскрешая в песне далекое время, встают века и мгновенья жизни манси, и вся окружающая природа с ее зверями, птицами. Характер зверей и птиц, их уловки, хитрости, страхи, ужас, борьба и смерть, смерть геройская, хватающая за душу, встает на этих игрищах во всей полноте и глубине. А человек, его личность, страсти и волнения остаются словно в тени... А может, и нет? А может, то, что говорится о зверях, относится и к людям? Ведь древний человек не выделял особенно себя из окружающего мира. И медведь, как манси, может быть справедливым, честным, простым, наивным, так же ему больно, если ударить, он, как и человек, любит, страдает, ненавидит, радуется, наслаждается, живет...»

По своему содержанию этот отрывок может быть разбит на три части, каждая из которых заканчивается многоточием. В начале фрагмента, обращаясь к древним представлениям манси о медведе, писатель уподобляет медведя человеку, вводя его прямую речь. Ориентация на фольклорные представления сказывается также в своеобразной фигуре умолчания: факт убийства медведя охотником не назван («где и застанет зимой его охотник, устроив затем медвежье игрище»).

Связь между первой и второй частью осуществляется посредством словосочетаний, называющих медвежий праздник — древний национальный ритуал северных народов: «устроив затем медвежье игрище... На этом таинственном представлении...». Вторая часть отрывка характеризуется напряженной экспрессией. Перечисление «зрелищных» действий (*кружась в танцах, забываясь в музыке, воскрешая в песне*) соотнесено с временным планом человеческой жизни, неразрывно связанной с природой. Вместе с тем эти обозначения действия как бы «накладываются» на перечень качеств и свойств, чувств и чувствований, которые сближают животных и людей. Перечислительный ряд («уловки, хитрости, страхи, ужас, борьба») завершается повтором слова *смерть* с последующим высоко эмоциональным развернутым определением: «смерть, смерть геройская, хватающая за душу». Сопоставление людей и животных выявляется также при столкновении понятий жизни и смерти, причем эти понятия объединяются одним и тем же глаголом-сказуемым в составе двух предложений: «...*встают* века и мгновенья жизни манси (...) *смерть* геройская, хватающая за душу, *встает*...». Третья часть отрывка начинается вопросом, который переводит сопоставление в аналогию, в утверждение сходства животных и людей по целому ряду свойств и признаков, которые выражены прилагательными (может быть *справедливым, честным, простым, наивным*) и глаголами (*любит, страдает, ненавидит, радуется, наслаждается, живет*).

Хотя приведенный отрывок начинается прямой речью персонажа (Илья-Аки), но по существу перед нами — авторский монолог, в котором непосредственно выражены воззрения писателя. Шесталов призывает не к слепому преклонению перед силами природы, а к глубокому и внимательному отношению к ней, к осознанию того, что сам человек есть часть природы.

В приведенном фрагменте из повести Шесталова основная экспрессивно-эмоциональная нагрузка падает на вторую часть, где автор особо акцентирует слово *смерть*. Видимо, это не случайно. В произведениях многих северных писателей смерть животного описывается как акт мужества, как итог и следствие сильных чувств и страстей, близких и понятных человеку.

«— Медведь, как и человек, бывает разный...» — эта реплика деда Кузьмы, персонажа из произведения хантыйского писателя Е. Айпина «Медвежье горе», по своему смыслу идентична взглядам, высказанным автором-рассказчиком в повести «Тайна Сорни-най». Реплика является ключевой к мотиву произведения, где Е. Айпин также прибегает к приему «рассказа в рассказе», который ведется от лица деда Кузьмы: «В жаркий летний день возвращался я домой. Подхожу к пескам, гляжу — медведица! Да не одна, с мед-

вежатами. За корягой я притаился. Смотрю — мать цап за шкуру медвежат, трясет и шипит, словно что-то внушает несмышленишам. Затем оставила их, а сама крадется к поляне, где олени отдыхают. Медвежата присели, чернеют, как обгорелые пеньки. (...) Поерзали немного и не выдержали — когда мать скрылась в кустах, пошли следом. Но тут под лапкой медвежонка треснул сучок. Мать в тот же миг вернулась. Грозно оскалилась, но не зарычала — побоялась спугнуть оленей. Оглянулась кругом, увидела валежник. Подняла одной лапой конец замшелого бревна и сунула под него своих деток (...) Сама — снова к поляне. Я привстал, вижу: медведица вскинулась на задние лапы и навалилась на оленя.

Дед Кузьма пососал потухшую трубку, взял головешку, прикурил. Затем отыскал на небе Большую Медведицу, прикинул время (...) — Медведица вернулась к своим деткам. Ну, думаю, пора уходить. Но что такое?! Медведица подняла валежину — а детки-то не шевелятся. Она туда-сюда, тормозит их, обнюхивает. Что-то неладное случилось. И тут она заревела на весь лес: бу-гу-гу-гу-у-у-у! Какой это был рев! Деревья, верно, и те заплакали. А у меня аж сердце упало. И ноги пропали, будто убежали куда. Словно окаменел я, шелохнуться не могу. А медведица, как полоумная, ломая сучья, полезла на сосну. Что затеяла?! Может, думаю, рехнулась с горя. Детки ведь как-никак. Ничего не успел я сообразить: с диким ревом она грохнулась с этой сосны. С самой макушки. Упала около мертвых медвежат. Я бросился к ней. Она застонала, как человек, а глаза стали медленно гаснуть в страшной тоске.

Эпизод передается как воспоминание очевидца. Уподобление медведицы человеку прослеживается на протяжении всего рассказа, в частности, при использовании вставной реплики от лица медведицы («Пусть, мол, побарахтаются, пока на охоту схожу»), при употреблении слов *мать*, *детки*, но наиболее четко оно проявляется в предложении, содержащем сравнение: «Она застонала, как человек, а глаза стали медленно гаснуть в страшной тоске». Чувства рассказчика выражены не только описанием его ощущений в трагическом финале, но и образным оборотом: «Деревья, верно, и те заплакали». Позиция же автора кажется нейтральной — автор только передает услышанное. Но вместе с тем о его, так сказать, солидаризации с персонажем, дедом Кузьмой, говорит упоминание о созвездии Большой Медведицы («Затем отыскал в небе Большую Медведицу»), что создает прямую ассоциацию с той самой медведицей, о которой ведется повествование.

Своеобразным антиподом медведя в северном фольклоре является россомаха. В романе нанайского писателя Григория Ходжера «Амур широкий» слово *россомаха* употребляется как резко отрицательная характеристика «человеческого» персонажа, напр.: «У это-

го торговца совести нет, он не человек, он хуже *росомахи*; «Пианон, сын мой! Зачем только ты доверился этому человеку-*росомахе*?»

У Ю. Шесталова образ *росомахи* дается в разных ракурсах. Так, в «Югорской колыбели» *росомаха* появляется в сказке об Эква-пыгрисе, герое мансийских легенд: первое боевое крещение Эква-пыгриса как охотника происходит тогда, когда он убивает *росомаху*: «Еле-еле взвалил Эква-пыгрис зверя на плечи и понес к избушке.— Как звать этого лохматого зверя? — спросил он удивленную бабушку.— Не *росомаха* ли? — Отгадал ты, внучек, *росомаха* это. По-мансийски — *тулмах*. Это значит хитрый, злой вор». В этом эпизоде автор дает представление о *росомахе* в соответствии с мансийскими легендами и целенаправленно использует национальное наименование *тулмах*, раскрывая его значение как «хитрый, злой вор».

По-другому раскрывается Шесталовым образ *росомахи* в повести «Тайна Сорни-най», где описываются ее повадки таяжского хищника, инстинкты, которые и создали ей недобрую славу: «Илья Аки не раз рассказывал про ее проделки. Всмотрит она зоркими глазами лосиную тропу. Вынюхает каждый след, каждое дерево, под которым любит он [лось] постоять и полакомиться. Притаившись в густых ветвях такого дерева, *росомаха* терпеливо ждет, когда величественные рога подплывут под ветви. И тогда она прыгает на широкую спину лоса, припадает к голове и острыми когтями маленьких, но проворных лап царапает глаза, вырывая их с нервами из глазниц. Слепленный таяжский гигант в паническом страхе обращается в бегство. (...) Шарахаясь из стороны в сторону, натываясь на деревья, грузно падая и поднимаясь, таяжский красавец несется до тех пор, пока его не покидают силы. А следом за ним, кувыряясь, перевортываясь, кривляясь, скачет *росомаха*, ожидая, когда длинные и стройные ноги не захотят больше нести гордую коронованную голову таяжского великана. И когда рога склоняются на снег, хищная продолговатая морда, сверкая оскалом превосходных зубов, припадает к горлу лоса».

Данный отрывок начинается ссылкой на рассказы старого охотника Илья-Аки. Все описание нападения *росомахи* на лоса дается в форме художественной речи, передающей напряженность действия, стремительность движения. Поэтому основная смысловая нагрузка падает на соответствующие глаголы и деепричастия: *несется вперед, стараясь уйти, шарахаясь из стороны в сторону, натываясь на деревья, грузно падая и поднимаясь*. Интересно, что среди деепричастий, относящихся к действиям *росомахи*, есть и такое, которым можно охарактеризовать поведение человека: «А следом за ним, кувыряясь, перевортываясь, кривляясь, скачет

росомаха». Наряду с глаголами выразительность описанию придает противопоставление: «гордая коронованная голова» (о лосе) — «хищная продолговатая морда» (о росомaxe).

Фольклорный мотив, связанный с легендой о росомaxe, использует Ю. Рытхэу в повести «След росомaxи». История любви двух современных людей — молодого ученого Тутриля и девушки Айнаны — как бы пропускается сквозь призму древнего сказания. Впервые о реальной росомaxe упоминает Айнана: «— Нынче у меня забота такая — появилась росомаха, повадилась таскать песцов из капканов. Никак не могу поймать ее, иной раз целый день иду по ее следу, а она все уходит». Так в повесть вводится сочетание *идти по следу росомaxи*, которое в речи Айнаны имеет прямое значение. Но в дальнейшем это сочетание приобретает значение метафорическое, которое основано на чукотском сказании. О смысле легенды говорят Тутрилю и сказительница Каляна, и Токо, представитель старшего поколения: «— ... когда увижу, что ты готов понять, тогда все тебе расскажу... Все, что берег многие годы. И про след росомaxи. О том, что верили раньше люди в то, что идущий по ее следу самой-то росомaxи может и не найти. А пойдет он или беду, или большую удачу. Или то, или другое. А кому охота так рисковать? Шли только те, кто к вероятности прибавлял еще и свою уверенность». Драматический финал повести — Айнана и Тутриля уносит на льдине в открытое море — завершается репликой Токо: «— Они пошли по следу росомaxи».

Фразеологический оборот *идти по следу росомaxи* является стержнем, вокруг которого разворачивается сюжет произведения. Но у Рытхэу это выражение приобретает более объемное значение, чем в легенде. Каждый персонаж повести вкладывает свое понимание в слова *идти по следу росомaxи*. Автор же не отрицает ни одного из взглядов действующих лиц произведения, но сочетает их в единое целое. Поиск счастья — это не только борьба за любовь. Это поиск самого себя, своего места в жизни. Это ощущение нерасторжимых связей с народом, и это обретение своей судьбы.

Рассмотренные тексты свидетельствуют о том, что фольклорные образы, рожденные традиционной культурой народа, в произведениях северных писателей непосредственно связаны с широкой и важной темой, общей для всей многонациональной советской литературы. Эта тема обусловлена отношением человека к природе, познанием ее непреходящих ценностей. В современном мире эти вопросы становятся не только художественно-эстетическими, но и нравственными.

Н. Г. МИХАЙЛОВСКАЯ,
доктор филологических наук
Рисунок В. Комарова



К 85-летию
со дня рождения
Л. В. Успенского

РЫЦАРЬ РОДНОГО СЛОВА

Имя писателя-филолога Льва Васильевича Успенского (1900—1978) хорошо известно широким кругам советских читателей.

Родился он в семье межевого инженера — геодезиста. В жизни своей, как писал об этом сам Л. В. Успенский, он был землемером, военным топографом, лектором по биологии, преподавателем черчения и русского языка, редактором в ряде издательств, газет и журналов.

Л. В. Успенский окончил Петроградский Лесной институт, затем Институт истории искусств по словесному отделению и аспирантуру при Институте языковой культуры. Занимался составлением Словаря древнерусского языка (в группе проф. Б. А. Ларина). В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Войну он заканчивал капитаном Балтийского флота, сотрудником военно-морского журнала «Краснофлотец».

Из всего обширного литературного наследия Л. В. Успенского особую признательность и популярность среди читателей получили книги о языке: «Слово о словах. Очерки о языке», «Ты и твоё имя», «Почему не иначе? Этимологический словарь школьника», «Имя дома твоего. Очерки по топонимике», «Загадки топонимики», «По закону буквы», «Культура речи» и другие.

Исключительная судьба выпала на долю книги «Слово о словах» (1-е изд. — 1954), которая вышла многими изданиями, известна у нас практически каждому любознательному, читающему человеку. Для многих современных филологов путь в большую науку начинался с чтения этой увлекательной книги.

Л. В. Успенский был автором (совместно с К. Н. Шнейдер) книги о древней письменности «За семью печатями», а также книги «Мифы Древней Греции». Однако далеко не все знают, что ему принадлежат интереснейшие лингвистические статьи: «Материалы по языку русских летчиков» (сб. Язык и мышление. Вып. VI—VII, 1936) и «Язык и революция». Эта, вторая, статья впервые была опубликована в сборнике «Пять искусств» в 1928 году, а затем под названием «Русский язык после революции» переиздана в чехословацком научном журнале «Slavia» (1931, т. X). Научное значение этих работ не утрачено до сих пор.

Широкие лингвистические взгляды отличают книги Л. В. Успенского о языке и культуре русской речи. За этой широтой стоит серьезная образованность автора, его внимание к фактам, исследовательская жилка в счастливом сочетании с даром популяризатора.

Книги Л. В. Успенского, посвященные языку, в их совокупности составляют своеобразный цикл «Занимательного языкознания». Особое место в этой серии занимает небольшая книга педагогического характера и назначения — «Культура речи». Вышла она в серии «Народный университет. Педагогический факультет» издательства «Знание» в 1976 году (отрывки из этой книги мы публикуем в настоящем номере журнала). Книга интересна тем, что прямо обращена к родителям, содержит важные советы и рекомендации по воспитанию речевой культуры детей с младенческого возраста.

Все лингвистические книги Л. В. Успенского написаны в лучших традициях научно-популярного жанра — серьезно и научно, без ненужного упрощения затрагиваемых проблем и вместе с тем живо, интересно, увлекательно. Трезвую научность проявлял писатель в своих многочисленных газетных статьях по культуре русской речи. С постоянным мудрым спокойствием относился он, например, к возникающим время от времени паническим рассуждениям о «порче» русского языка. Вот какой ответ на них дает писатель в беседе «Разговор о разговоре» (Труд, 1958, 11 февр.):

«Когда меня — в упор, как выстрел из пистолета, — спрашивают: „Как бороться с пороками речи?“, с засорением языка, с его „обеднением“, я даю всегда один не прямой ответ: а грызут ли все эти педуги великолепный и могучий язык русский?»

Его „страшную порчу“ оплакивал, вопия, еще Сумароков: это было за полвека с небольшим до Пушкина. Сам Пушкин, создавая наш литературный язык на сотни лет вперед, печалился о его тревожном будущем. Но еще через полвека тот же язык наш загремел и заблестал на весь мир в творчестве Толстого и Достоевского, Тургенева и Чехова...

Ворчуны и паникеры продолжали горевать над ним. А он продолжал жить и развиваться и стал языком Блока и Бунина, Горького и Алексея Толстого, Маяковского и Шолохова, Твардовского и Фадеева и множества других мастеров. Он стал языком Ленина, языком партии, международным универсальным языком... О каком же обеднении и оскудении может говорить языковед?»

Ученик Л. В. Щербы, Б. А. Ларина, В. В. Виноградова, Ю. П. Тынянова, С. И. Бернштейна и др., Л. В. Успенский оставил интереснейшие страницы воспоминаний о них — представителях петроградской — ленинградской интеллигенции, выдающихся ученых-филологов — в своей книге «Записки старого петербуржца» (1970). Да и в самом облике Л. В. Успенского сквозила эта необыкновенная спокойная несуетность — черта, идущая от характера старых «питерцев», о котором сам писатель говорил так:

«Есть в старых ленинградцах черты отметные, может быть, перешедшие к ним даже от ветеранов старого питерского пролетариата и интеллигенции, — какая-то особая неспешность и степенность, которую не может побороть даже напряженный темп нашего сегодня. Да и нет надобности в этом: потому что неспешность питерца всегда была все успевающей вовремя неторопливостью» (Неделя, 1974, № 3).

...Я вспоминаю одно из очередных заседаний «Круглого стола» в «Литературной газете» — по вопросам русского языка, по проблематике рубрики «Язык и время» поздней осенью 1978 года.

Он вошел — высокий и массивный, чуть сутуловатый, легко, по-военному (а точнее — по-флотски) неся свою ладную фигуру с убеленной сединой головой. И в довольно просторной комнате редакции стало одновременно и теснее, и как-то уютнее.

В состоявшемся длинном разговоре, где были писатели, ученые, учителя-методисты, Л. В. Успенский сразу же невольно оказался в центре внимания. Его реплики и комментарии были самыми интересными и острыми, они прямо связывали обсуждаемые вопросы с учебно-педагогической, литературной, газетной и общедоступно-речевой практикой наших дней. Мы тогда еще не знали, что это — его последнее публичное выступление и что через несколько недель его не станет...

Писатель-филолог, писатель-воин, все 900 блокадных дней прошедший в Ленинграде, русский потомственный интеллигент, горячо влюбленный в родной язык и так много сделавший для пропаганды знаний о нем, — таким остается Лев Васильевич Успенский в своих статьях и книгах, которым суждена долгая и плодотворная жизнь.

*Л. И. СКВОРЦОВ,
доктор филологических наук*

А КАК ЭТОГО ВСЕГО ДОБИТЬСЯ?

Я приведу здесь список самых простых, элементарных приемов, которые могут помочь молодым родителям развивать в детях сложный комплекс стремлений и навыков, который мы называем культурой речи.

Возможно, что, будучи рассчитанным на детское восприятие, он пригодится и некоторым папам и мамам, особенно если в свое время тучи филологической подготовки обошли их стороной.

ЕДВА ДИТЯ РОДИЛОСЬ

Вот, едва дитя родилось ... говорите с ним. Говорите все время, пока оно не спит. Говорите, перепеленывая, говорите, купая в ванночке, говорите, когда оно сосет молоко. Говорите, говорите, говорите...

Что говорить? Пока что это довольно безразлично. Если не находится слов, которые обычно сами льются у матерей с языка, читайте вслух самому себе в такой же мере, как и ему, что угодно, хотя бы все стихи, которые вам памятливы: от пушкинского «Птичка божия не знает» до того, что вчера вы сами прочли в новом номере журнала.

Но читать старайтесь хоть негромко, однако «не так, как пономарь, а с толком, с чувством, с расстановкой». Меняйте интонацию, повышайте и понижайте голос. Нельзя в то же время возле спящего и неспящего ребенка говорить слишком громко, кричать, переругиваться, позволять себе сердитое, злое выражение, неприязненный тон: малыш испугается и заплачет, и кто знает, как этот испуг отзовется на нем много лет спустя? Говорите с ним так, как будете говорить года полтора спустя, когда он начнет уже «понимать все». И говоря, смотрите на его маленькое личико: мало-помалу глубокое успокоение начнет волнами набегать

на него, он станет двигать губами, учась улыбаться, и, наконец, потихоньку уснет...

Говорите и разговаривайте возле вашего малыша, и следы вашего говорения останутся у него в сознании или в подсознании — пусть это решают психологи — и в свое время помогут наладить взаимоотношения с хорошим, человеческим словом.

Я думаю, с этого следует начинать.

ТЕПЕРЬ ОНО — ЧУТЬ ПОСТАРШЕ

Теперь ему полтора или два года. Отлично, если возле него есть сказочница-бабушка или если этот дар есть у папы с мамой или даже у тети. Но если никто в семье не умеет рассказывать сказки, если нет у вас пушкинской Арины Родионовны — не беда! Сядьте возле вашего сына (или дочки) с книжкой и, заранее подготовившись (потому что хуже ничего не может быть, если сказочник мычит, сбивается, путается), читайте ему те же «сказки».

Я взял слово «сказки» в кавычки, потому что не хочу ничего предписывать заранее. Не настаиваю непременно на народных сказках. Пробуйте. Что-нибудь затронет душу вашего слушателя. Моему внуку сейчас уже 11; он взыскательный чтец любой фантастики; он читает запоем «Технику — молодежи», но когда находит на полке Андерсена или «Индийские сказки», его и от них не оторвешь. И когда ему было 6, он также наслаждался «Таинственным островом» — сначала в чужом чтении, потом в своем.

Брат мой мог слушать «сказки» часами (у нас «Ариной Родионовной» был отец, инженер-геодезист), а я был и остался к ним равнодушен. Зато «зверинные книги» — рассказы о животных могли отвлечь меня от самой интересной игры.

...По-моему, нет особой надобности строго приравниваться к тому словарю и кругу понятий, которыми ребенок уже располагает. Забегайте в этом смысле вперед: ведь вы-то готовы прийти на помощь! Но следите, чтобы он обязательно спрашивал, что значит новое слово? Тогда «ядра — чистый *изумруд*» станет ему известным еще в три года. Словарь его будет расширяться, а с ним и круг понятий. Это — хорошо, но, конечно, в меру.

Не пленяйтесь мечтой о дитяти-вундеркинде. Не поуждайте его «выпередить» себя, подобно лесковскому «Перегуду из Перегудов».

КАК ХОРОШИ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ!

Да, действительно, как они хороши, причем на всех ступенях развития ребенка, с грудного возраста и до тех дней, когда вы сочтете, что ему уже нет надобности «засыпать с их помощью». Говоря «колыбельные песни», я думаю шире этого поэтико-музыкального определения. Для ребенка, если, конечно, вы не находите его музыкальным феноменом, довольно безразлично, что ему поют, кто поет и как.

Я знавал бабушек — обладательниц медвежьих басов и вовсе не обладавших абсолютным слухом: внуки засыпали под их пение как под наркозом.

Я и сам не помню такого множества классических «колыбельных», чтобы их хватало и на моих детей — внуков и на меня самого (повторяться, скучно!). Мне случалось поэтому использовать... любые стихотворения, обладающие некоторой «напевностью»; я певал их на любой, по моим наблюдениям, скорее клонящийся к дремоте, мотив. Да что там: один из моих сыновей лучше всего засыпал под «Бородино» Лермонтова!!! Так что если вы не в восторге от собственных вокальных данных, пусть это вас не смущает. Не намерен я тут спорить с теми, кто считает сказки, колыбельные песни пережитком. Пусть его дети растут без них! Тем не менее буду возражать сердитым родителям, ворчащим: «У нас некому и некогда распевать! И без того заснет, когда захочет». Да, заснет, но не будем тогда и поминать о культуре речи: «Заговорит, когда понадобится!»

ВАШЕМУ ЧАДУ 5—6 ЛЕТ...

Если ему около пяти или шести и если он не сдан вами на руки профессиональным педагогам в детском садике, надо уже подумать о том, чтобы он начал читать сам. Буквы-то он обычно уже знает.

Если в доме много книг, если они являются предметом уважения и любви, если они все время в ходу и вокруг себя малыш видит читающих, а то и слышит чтение вслух, а при этом читающие и слушающие то смеются, то обсуждают с жаром прочитанное — интерес к печатному слову, конечно, у него возникнет и будет расти.

Я до сего дня помню вытисненные золотом на корешках «Энциклопедии Брокгауза», стоявшей за стеклом в отцовском шкафу, таинственные и приманчивые пары слов:

т. VII — «Биттсбург до Босха», т. XVII — «Гоа до Гравёр». И самый загадочный, на котором было написано: «Малолетство до Мейшагола».

Для меня бесспорно, что именно с этих златоблестящих корешков началась моя любовь к книгам. А потом, когда мне открылся способ узнавать при помощи этих красивых томов значения непонятных слов, она возросла и окрепла. И перешла на все остальное множество книг.

Но, допустим, в вашем доме книги еще не успели накопиться в таком количестве. Ничего, надо только, чтобы их было достаточно вокруг ребенка. Не покупайте ему что подвернется под руку. Выбирайте книги проверенные, те, которые радовали и вас в детстве, и хорошо иллюстрированные.

Начинайте с рассматривания картинок: «Что тут нарисовано? Погоди... Вот сейчас узнаю — прочту...» Покажите ему, что даже ваше неведение исправимо при помощи чтения. Прочитайте ему сказку вслух раз, два, три раза, сколько сможете. Добейтесь, чтобы ему захотелось слышать ваше чтение. Прочтите с ним несколько книг вслух насквозь. Завлеките его в этот волшебный мир, как обучаемого плавать заводят на преглубокое место. А потом начните исподволь отказывать ему в этом наслаждении. Скажите: «Ты уже знаешь буквы (а он, несомненно, их уже знает), так попробуй читать сам. Вот отсюда досюда; одну-две строки». А потом немного почитайте ему в награду. По моему опыту, чтобы перейти от чтения «с буксиром» к «самостоятельному плаванию», требуются не годы и даже не месяцы. Нужно, если вы с ним занимаетесь, несколько недель.

И теперь уж не сдавайтесь на самые умильные мольбы почитать вслух. Как только почувствовали в нем действительную потребность в том, чтобы ему читали, стойте на своем, и вам будет даровано счастье видеть, как малыш, наконец, читает сам с каждым месяцем все свободней. Теперь вам придется все энергичней снабжать его книгами, и пусть он устанавливает, литература какого рода ему более по сердцу: может быть, причудливые рассказы про «Незнайку» Н. Носова, а возможно, «Жизнь животных» Брема.

Бывает, любовь к книге вспыхнет, как пожар, а возможно, она будет расти, как дерево, постепенно и незаметно: важно, чтобы она родилась, потому что, раз возникнув, она уже навряд ли угаснет.

«А ТЕПЕРЬ ТЫ ПОЧИТАЙ МНЕ!»

Да, этого пожелания тоже не следует забывать. Вы достаточно почитали ему, и это пусть еще некоторое время остается как бы лакомым блюдом, которое можно подавать «на сладкое». Но теперь пусть и он почитает вам, либо потому, что у вас глаза устали, если вы дедушка или бабушка, либо потому, что вы заняты, а хочется дослушать про то, что случилось с Нильсом и лисой Смирре или с Карлсоном, который живет на крыше. А может быть, и просто на том основании, что «ты уже очень хорошо читаешь».

Лучше этого не требовать. Лучше попросите, но только не выклянчивайте у него милости. Чаще всего они сами входят во вкус — ведь читать вслух это же «так взросло!» — надо только, чтобы слушали их внимательно и с видимым удовольствием.

Не усердствуйте: полстранички для начала вполне достаточно. Потом можно дойти до двух-трех. Но с самого начала следите, чтобы чтение было выразительным (конечно, учить этому может лишь тот, кто сам читает выразительно). Не стесняйтесь остановить чтеца, взять у него книгу и показать ему, как нужно на самом деле подать эту фразу, чтобы ее краски загорелись и для него.

Примите в расчет, что дети в большинстве (не знаю по какой причине) охотно привыкают читать как можно быстрее, совершенно не заботясь о смысле. Манера эта, как инфекция, заносится откуда-то извне в семью, и ей следует решительно объявить войну.

Война, вероятно, затянется и на школьные годы: вам придется помогать школе. По моему мнению, полезно восстановить у себя «несовременную» манеру хотя бы в течение получаса, оторвавшись от телевизора, читать друг другу вслух. Нет, не по-актерски, а как можно проще, но так, чтобы не скучно было слушать. Хорошо бы поставить это дело с самого начала так, чтобы оно стало обязательным, как утренняя зарядка или прогулка после школы, и продолжалось бы не дольше чем по получасу, максимум по 45 минут на прием, но годами, годами! Сделайте так: пусть треть времени читает дите, треть — вы, а треть, допустим, его старшая сестра или брат. О результате не буду говорить заранее. Результат скажется через годы, и тогда можно будет эти громкие чтения отменить. Если самим не станет жалко.

НАДО, ЧТОБЫ ГОВОРИЛА ВСЯ СЕМЬЯ

Да, вот это совершенно необходимо! Если родители — глухонемые, ребенок, воспитываемый ими, не заговорит сам. Если они — хмурые, молчальники, сомнительно, чтобы из него получился краспобай. Нужно, чтобы с малых лет у ребенка была окружающая его «речевая атмосфера», чтобы в ней не накапливалось речевой «углекислоты» от угрюмых молчунов, чтобы и мама и папа, и остальные члены семьи, появляясь дома, находили поводы и темы для оживленных сообщений о том, что они испытали там, вне дома. Чтобы даже если им самим не так уж весело сегодня, они не упустили бы возможность и в этом случае занятно поговорить и с ним, и при нем... Трудно? А вообще иметь детей далеко не забава и не сплошное веселье! Что поделаешь!

Задолго до школьного возраста нормальный ребенок начинает изнурять родителей вопросами, далеко не всегда «умными» с позиции взрослых. Бывает, что лишь способ «разговорить» безмолвствующих — самому «сказать» и от них получить ответ. Воздержитесь обрывать ребенка, отмахиваться от его вопросов, часто сплетающихся в бесконечную цепочку, даже если вы видите, что с его стороны это игра.

Игра? Так ведь словесная, речевая игра — что может быть желанней и полезней с точки зрения овладения истинной культурой речи? Без нее куда труднее и научить говорить «хорошо», и развить внимание к слову и языку. Она должна быть радостью для воспитателя. Ее следует поощрять и одобрять, даже когда она для него и не радость. Запомним: нет педагогики, которая не требовала бы затраты сил и времени со стороны воспитателя.

Пусть время идет, пусть сучивший ножками в кроватке уже гоняет на велосипеде «Орленок» и решает в школе задачи «с иксом», надо, чтобы дома вокруг него по-прежнему говорили, разговаривали. Это необходимо, теперь уже чтобы не «заложить» в нем, а чтобы поддерживать и укреплять то самое «поле языковых сил», без наличия которого нечего и думать о построении в человеке истинной «культуры речи».

В ИСТОРИИ русского эпистолярного жанра отчетливо прослеживается связь с социально-экономической и духовной жизнью общества, а также с развитием литературы и литературного языка. Короткие, информативные частные письма древней Руси с их незатойливым начальным «поклоном» или «словом добрым» сменились в феодальной Руси XIII—XVII веков грамотками и челобитьями с тяжеловесными трафаретными здравицами в зачине и концовке: «Государю моему Ашютка да дочь твоя Акулинка слезами обливаясь челом бьют» (XVII в.). В стереотипах патриархальной вежливости отражалось социальное положение автора и адресата в обществе и семье. В частных письмах этого времени причудливо переплетались книжные обороты и разговорная речь.

В Петровскую эпоху официально-деловая, канцелярская и частная переписка постепенно освобождалась от прежних эпистолярных штампов, по неизменное во все времена обращение по имени или фамилии к адресату теперь осложняется титулами и новыми формулами начала и конца на западноевропейский манер: «Милостивейший (вселюбезнейший, державнейший) князь и господин...». Во II половине XVIII века зачины и концовки частных писем становятся более унифицированными и простыми: они теряют пространное высокопарное обрамление имени, сохраняя традиционные здравицы как обя-



*«Весь ваш
без
церемоний...»*

**Речевой этикет
в частных письмах
XIX века**



5

зательный компонент письма (см. об этом: Отин Е. С. «За сим паки здравствуй!» — Русская речь, 1981, № 3).

Сохранились тысячи писем писателей, поэтов, художников, композиторов, ученых XIX века — богатейший, пока еще мало изученный историко-лингвистический материал, позволяющий судить не только об эпохе и личности их авторов, но и об эпистолярной культуре века. По переписке Пушкина, Вяземского, Баратынского, Белицкого, Глинки, Гоголя, Герцена, Тургенева, Рахманинова, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Чехова можно судить о характере частного письма как жанра в относительно однородной социальной среде дворянской и разночинской интеллигенции XIX века.

Лейтмотив всей неофициальной переписки этого времени — писать, как говорят, и говорить, как пишут. Раскованность стиля, его мозаичность и разговорность коснулись всех трех традиционных частей классического письма — зачина, основной части и концовки. Сами авторы нередко отождествляли свои послания с интимным разговором. Вот отрывок из письма И. С. Тургенева Л. Н. Толстому: «Любезный Толстой, давно я не писал Вам — я у Вас в долгу, — но часто думаю о Вас и вот теперь, приехавши в Вену, беру перо и хочу немножко поболтать с Вами» (1858, 8 апр.).

Дружеские письма дворянской интеллигенции начала прошлого столетия были своеобразным экспериментом, в ходе которого оттачивался литературный русский язык. Основная, содержательная часть писем испокон веков в эпистолярной традиции была в большей или меньшей мере свободна от трафаретов и близка к разговорной речи. По письмам русской интеллигенции прошлого века можно судить об устной форме литературного языка — «беседной речи», впрочем, не отождествляя то и другое. Это остро чувствовал Пушкин: «Я не люблю писать писем. Язык и голос едва ли достаточны для наших мыслей — а перо так глупо, так медленно — письмо не может заменить разговора» (Н. И. Кривцову, 1819, вторая половина июля — начало августа).

Трудно систематизировать все многообразие зачинов и концовок частных писем в пору расцвета эпистолярного искусства. Условно их можно свести к трем типам обрамления письма, между которыми нет четких границ.

*

Самые распространенные в первой половине XIX века зачины писем содержали обращения к адресату по имени — отчеству с выражением ему всяческого почтения и добрых чувств, с устойчивой структурой здравниц и благодарностей. Среди этих зачинов

и те, которые отмечены в переписке М. И. Глинки наблюдательным глазом читателя Д. Н. Лазарева (Ленинград), приславшего письмо в «Русскую речь»: «Беспенная маминька», «Любезный друг Нестор Васильевич», «Милая и несравненная Коконушка», «Душевно уважаемая и добрейшая Прасковья Аксентьевна», «Бесподобнейший барин Дмитрий Васильевич». Такой зачин развился как продолжение давней русской традиции «доброе» письма, поддерживался письмовниками того времени и питался переводными и русскими сентиментальными романами в письмах — излюбленным литературным жанром конца XVIII и начала XIX века. Особенно сказалось влияние «чувствительного» романа Руссо «Элоиза».

В середине и даже в конце прошлого века подобные зачины сохраняются в письмах к родителям и старшим по возрасту друзьям, написанных почтительно-возвышенным старинным слогом. «Глубочайшим высокопочитанием, невыразимой любовью и преданностью» преисполнены письма «к неопцененной, милой, великодушной маменьке покорнейшего и послушнейшего сына», «сто раз целующего заочно ручки» — Николая Гоголя. Более сдержанны и строги письма к «любезным родителям, Григорию Никифоровичу и маменьке Марии Ивановне, любящего и почитающего сына» — Виссариона Белинского. В том же стиле написаны почти через 50 лет письма М. Е. Салтыкова-Щедрина матери.

Концовки писем обычно делаются в одном стиле с зачинами. В неофициальных письмах XIX века они необыкновенно многообразны. Это прежде всего многословные здравицы и почтительно-любезные заверения в любви и памяти, завершающиеся полным или домашним именем писавшего. В таком ключе написаны все концовки писем М. Глинки: «Обнимаю тебя от души. Твой неизменный друг Мишка»; «Будь здоров, счастлив и помни преданного тебе душой М. Глинку»; «Прощайте, добрые друзья, и верьте, что я навеки ваш искренний друг М. Глинка»; «Целую ваши ручки, прошу вашего родительского благословения и остаюсь вашим всепокорнейшим сыном Михаил Глинка». В романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди» Макар Деушкин в письмах Варваре Доброселовой использует едва ли не все возможные варианты зачинов и концовок, принятых в его социальной среде.

*

Другой тип зачинов и концовок, отмеченных на протяжении всего XIX века в частных письмах русской интеллигенции, воспринимается как протест против сентиментального стереотипа. Это письма свободной структуры и нового слога. Каждое из них — прекрасный экспромт, где играет живое русское слово, нет пате-

тики и культ дружбы обретает словесное выражение. Иногда в них нет обращения к адресату по имени и традиционных здравий. Сообщение начинается как бы с «места в карьер». Таково, например, дружеское письмо Пушкина П. А. Плетневу: «Воля твоя, ты несносен: ни строчки от тебя не дождешься. Умер ты, что ли? Если тебя уже нет на свете, то, тень возлюбленная, кланяйся от меня Державину и обними моего Дельвига. Если же ты жив, ради бога, отвечай на мои письма» (1831, 11 апр.). Другое письмо заканчивается неожиданным признанием: «Прости, душа, скучно мочи нет» (1826, вторая половина января).

Интересные письма писали арзамасцы — члены литературного кружка «Арзамас» (1815—1818), объединявшего сторонников реформы Н. М. Карамзина, — П. А. Вяземский, К. Н. Батюшков, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, В. Л. Пушкин, А. Ф. Воейков, А. И. Тургенев и другие. Они стояли за сближение литературного языка с разговорным и за новые жанры в поэзии. Их личные письма трудно отделить от писем — дружеских посланий, имевших политическое и литературно-общественное значение. Письма читали и обсуждали, они ходили по рукам, их пересылали нередко с оказией, минуя почту.

Зачины и концовки, обращения в тексте таких писем, полностью отступая от образцов, могли содержать шутку, метонимический перенос, дразнилку или неожиданное самоназвание. Одно из писем брату, Льву Сергеевичу, А. С. Пушкин заканчивает шутливыми словами: «Прощай, Фока, обнимаю тебя, твой друг Демьян» (1822, 24 янв.), а письмо П. А. Вяземскому заключает так: «Прости, прощай — с тобою ли твоя княгиня-лебедушка! кланяйся ей от арзамасского гуся» (1825, 13 июня).

Даже строгий В. Г. Белинский в письме В. П. Боткину позволяет себе шутливое обращение: «Давно уже собираюсь писать к тебе, мой дражайший и лысейший Василий, но все не мог собраться... Понимаешь ли ты меня, о лысая и московская душа!..» (1840, 16—21 апр.).

В такой же тональности писал свои письма и А. П. Чехов. Одно из писем брату Александру заканчивается так: «Владыко! Я имею полное основание не курить твоих сигар... Одним словом, ты пуговица. Пиши и будь здоров, как бык. Упрекающий тебя брат твой А. Достойнов-Благороднов» (1895, 19 янв.).

Любопытно, что в неофициальной переписке XIX века было нормой дружеское обращение к адресату по фамилии. По-видимому, это было нормой разговорной светской речи. Вспомним строчки из «Евгения Онегина»: «Теперь послушаем украдкой Героев наших разговор: — Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. — „Привычка, Ленский“». Обращение по фамилии встречается в письмах Пуш-

кина, Баратынского, Герцена, Тургенева. В их посланиях «на ты» рядом с фамилией чаще всего стоит эмоциональное определение, как бы снимающее чрезмерную суровость: «Здравствуй, Вульф, приятель мой!..» (А. С. Пушкин, 1824, 20 сент.); «Давно бы я писал к тебе, милый Пушкин, ежели бы знал твой адрес и ежели бы не поздно пришла мне самая простая мысль, написать Пушкину в Петербург» (Е. А. Баратынский, 1828, март); «Милый Панаев, я получил твое письмо...» (И. С. Тургенев, 1856, 3 окт.). По фамилии обращался и А. И. Герцен в письме к самому близкому другу — Н. П. Огареву.

Галантный век вполне допускал иноязычные начала и концовки писем, вкрапления слов-галлицизмов и целых фраз на чужом языке. В дружеских письмах XIX века такие инкрустации совсем не несут на себе печати претенциозности. Это дань эпистолярной моде того времени. Перемежаясь с шуткой и каламбуром, они тоже рассчитаны на снижение стиля. Вот дружеское обрамление серьезного письма из Берлина М. И. Глинки В. Н. Кашперову, где афористически изложены эстетические взгляды композитора: «Figlio carissimo! [дражайший сын] ... Обнимаю вас от души и желаю вам всего лучшего. Ваш верный Padre Мимоза» (1856, 20 июля). В письме А. С. Пушкина Н. И. Гнедичу от 13 мая 1823 года к заключительному *vale* [будь здоров, прощай!], так знакомому нам по онегинской строчке: «В конце письма поставить *vale*...», дописано: «*sed delenda est censura*» [но цензуру должно уничтожить]. А веселое, изящное письмо к А. П. Керн поэт заключает совсем неожиданно: «Adieu, belle dame. Весь ваш — Яблочный Пирог» (1827, 1 сент.). Однако можно смело сказать, что для эпистолярной манеры Пушкина нехарактерно такое соединение русского и чужого. И это не случайность, а принцип. Он пишет младшему брату Льву: «Сперва хочу с тобою побраниться; как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо, ты не московская кузина...» (1822, 24 янв.).

В неофициальных письмах того времени встречается еще один вариант начала писем с ласкового обращения, выплетенного в деловое изложение: *милый, душа, милый мой, душа моя, друг мой*... Это по существу не новый тип эмоционального, доверительного обращения в начале письма: подобные сочетания (*свет мой, радость моя, друг мой сердешный, добродей, приятель*) широко использовались в XVII—XVIII веках (обычно рядом с именем). «Милый мой! мое намерение обнять тебя, но плоть немощна» (А. С. Пушкин — П. А. Вяземскому, 1825, 13 июля); «Что это значит, душа моя? Ты совершенно замолк...» (А. С. Пушкин — П. А. Плетневу, 1831, 26 марта),

В концовках «свободных» писем наблюдаются многообразные формы этикетного прощания: *прости; до свидания; прощай, до свидания; прости, прощай* — видимо, в первой трети XIX века эти слова воспринимались еще как дублеты. «Кланяюсь княгине и целую руки, хоть это из моды вышло» (А. С. Пушкин — П. А. Вяземскому, 1825, 19 февр.). Но и здесь ощущается стремление уйти от штампа. Пушкин заканчивает письмо М. П. Погодину так: «До свидания, милый и любезный. Весь Вап без церемоний» (1827, 3 авг.). П. А. Вяземский заканчивает одно из писем Д. В. Дашкову традиционным «простите, любезный собрат!..», за которым следует шутка: «Падаю до ног по-польски, кланяюсь, берусь за голову по-турецки, а обнимаю по-русски, то есть от всего сердца. Простите» (1818, 2 ноября).

*

Третий тип зачинов и концовок своеобразно продолжает уже сложившиеся в начале XIX века описанные выше варианты, как бы сокращая их и сливая воедино. В обращении к адресату названо имя или имя-отчество в сочетании с принятыми, устоявшимися эпитетами: *почтенный, милый, любезный, дорогой*. Если в пушкинские времена такое обращение — знак большей духовной, возрастной или социальной дистанции между пишущим и адресатом, то в конце века — это типизированная формула почти любого неофициального письма.

Концовки таких писем конца XIX века мало чем отличаются от концовок писем начала и середины века, разве только большей сдержанностью и простотой. У М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Прощайте, до скорого свидания...», «...душевно Вам преданный...», «будьте здоровы, жму Вашу руку», «прощайте, будьте здоровы, не забывайте преданного Вам М. Салтыкова». А вот концовки писем Тургенева и Чехова: «Остаюсь любящий Вас Иван Тургенев»; «Поклонитесь всем добрым приятелям и будьте здоровы и веселы. Ваш Иван Тургенев»; «...Прощай, будь здоров — обнимаю тебя и всем кланяюсь. Твой Иван Тургенев»; «Желаю Вам всего хорошего. Еще раз благодарю. Искренно Вас уважающий А. Чехов»; «Крепко жму Вам руку и прошу не забывать меня...»; «Целую Вам обе руки. Ваш А. Чехов».

Все три условных типа начал и концовок писем сосуществуют не только в эпистолярном жанре XIX века, но иногда и у одного и того же автора. Естественно, что структура частного письма зависит от многого: разницы в возрасте, степени близости людей по интересам, духовному складу, образованию и социальному кругу.

Достаточно посмотреть на зачины и концовки писем А. С. Пушкина, чтобы наметить по ним своеобразную градацию его духовной близости. Письма помогают почувствовать, как иногда сокращается это расстояние: «Благодарю тебя за *ты* и за письмо», — пишет поэт К. Ф. Рылееву (1825, 25 янв.). Насколько теплее стали письма от слов *дедушка, внук, сыновний*, включенных в трафаретное обрамление: «Милостивый государь дедушка Афанасий Николаевич. Спешу известить Вас о счастье моем и препоручить себя Вашему отеческому благорасположению, как мужа бесценной внучки Вашей, Натальи Николаевны... С глубочайшим почтением и искренно сыновней преданностью имею счастье быть, милостивый государь дедушка, Вашим покорнейшим слугой и внуком. Александр Пушкин» (1831, 24 февр.).

И хотя неофициальные письма содержат богатейший материал для представления обо всей социально-дифференцированной эпистолярной культуре века, каждый автор остается в рамках своей речевой системы сугубо индивидуальным и своеобразным. Патетически возвышенным, приверженным к высокопарному обрамлению — Гоголь, суховатым и официальным — Салтыков-Щедрин, рациональным и раскованным — Герцен, шутливо-ироничным выдумщиком — Чехов.

Расцвет эпистолярного искусства в XIX веке чрезвычайно расширил языковую сочетаемость слова *письмо*. Появились новые оценки писем: «деловое и дельное», «восторженное и полукислое», «умное и глубокое», «короткое и длинное», «глупое и глусное», «вдохновительное» и даже «толстое» и «жирное»...

Краткий обзор неофициальных писем XIX века показывает, что в эпистолярном жанре шло непрерывное двоеборство между свободным стилем, не связанным строгим образцом, и непрерывной формализацией этикетной рамки письма. К началу XX века письма «без адреса», не содержавшие обращения по имени, практически изжили себя. Обращения типа *милый, милая* сузили сферу употребления до глубоко интимных, любовных писем. Обращения к адресатам стали более унифицированными: *уважаемый (-ая), дорогой (-ая), милый (-ая), любезный (-ая)* и *имя (отчество)*. Здравницы и прощания стали более простыми: *здравствуй (-те), будь (-те) здоров (-ы), до свидания*.

Традиция нашего неофициального письма складывалась как проявление приветливости и доброты в общении — главных черт русской нравственной культуры,

Л. А. ГЛИНКИНА,
кандидат филологических наук
Челябинск

ДИАЛОГ И МЕТЕОРОЛОГ, БИБЛИОГРАФ И ТЕЛЕГРАФ...

Судьба ударения
в заимствованных
словах

За последние 50 лет произошли значительные изменения на всех уровнях языкового развития, в том числе и в акцентологии. Большой интерес представляет судьба ударения в словах иноязычного происхождения. Рассмотрим слова на *-лог*, *-граф*, *-метр*, являющиеся по происхождению греческими, латинскими или заимствованиями из западноевропейских языков. Это в основном терминологическая лексика. Сведения об ударении в словах такого типа можно обнаружить только в словарях. Проследим судьбу этих слов начиная с первого толкового словаря советской эпохи — «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова. В данном словаре отразились языковые нормы 20—30-х годов XX века. Современное же состояние ударения зафиксировано в «Орфоэпическом словаре русского языка» (1983) под редакцией Р. И. Аванесова.

Существительные на *-лог*, *-граф*, *-метр* в первой половине XIX века (в период их появления в русском языке) имели ударение главным образом на последнем слоге. Однако в конце XIX века начал происходить сдвиг ударения на предпоследний слог. В большинстве этих слов становится более или менее стабильным ударение на втором слоге от конца, хотя некоторые из них в первой трети XX века сохраняют еще традиционное ударение или обнаруживают акцентную вариативность. Наглядное отражение

этой вариантности можно увидеть в рекомендациях Толкового словаря Ушакова.

*

Слова на *-лог*. В словаре Ушакова приведены 77 таких слов, которые можно разделить на две группы: существительные, связанные с обозначением лиц, и существительные, называющие неодушевленные предметы.

В 62 словах со значением лица ударение падает на второй слог от конца. Почти все они не претерпели акцентологических изменений до настоящего времени: *антропблог*, *геблог*, *идеблог*, *криминблог*, *социблог* и т. д. 17-томный Словарь фиксирует ударение на последнем слоге только в слове *бальнеолог* (специалист, изучающий лечебное применение минеральных вод). Последующие словари приводят его вновь с ударением на втором слоге от конца, которое более соответствует акцентологической модели для слов этого типа, — *бальнеблог*.

С двояким ударением в словаре Ушакова зафиксированы четыре слова: *астрблог*, *метеорблог*, *метрблог*, *теблог*, которые в настоящее время утратили вариант с ударением на последнем слоге.

В последние десятилетия в русский язык вошло огромное количество слов на *-лог*: *византоблог*, *гематблог*, *микблог* (специалист, изучающий грибы), *спелеблог* и др. К. С. Горбачевич в книге «Вариантность слова и языковая норма» (Л., 1978) подчеркивает, что «наиболее общей действенной причиной акцентной вариантности в современном языке является воздействие аналогии, фактора внутрисистемного порядка». Значительная по объему и частоте употребления группа слов на *-лог*, уже давно бытующая в русском языке, оказала влияние на появившиеся новые слова, которые в большинстве своем закрепились с ударением на втором слоге от конца.

Из десяти слов, обозначающих неодушевленные предметы, имели ударение на предпоследнем слоге *анблог*, *апблог*. В настоящее же время они обнаруживают колебания: 17-томный Словарь — *аналог*, более поздние словари — только *анблог*. Интересна судьба ударения у слова *аполог*. 17-томный Словарь приводит ударение только на втором слоге от конца, констатируя тем самым его устойчивость: *апблог*. Однако 4-томный «Словарь русского языка» вводит новый акцентологический вариант: *апблог* и *аполбг*; Орфографический словарь рекомендует в качестве нормы ударение на последнем слоге: *аполбг*; Орфоэпический — поддерживает оба варианта: *апблог* и *аполбг*.

Все современные словари свидетельствуют о стабильности ударения на последнем слоге в словах *каталбг*, *некролбг*, *пролбг*, *эпилбг*.

С двумя равноправными ударениями в Толковом словаре Ушакова отмечен *диáлог*. 17-томный Словарь дает *диáлог*, 4-томный Словарь — *диáлог*. В настоящее время нормой является ударение на последнем слоге, причем в Орфоэпическом словаре *диáлог* считается устаревшим. Таким образом, испытывая колебания в ударении, существительное *диáлог* стремится к акцентной унификации. Итак, если в словах, обозначающих лицо, ударение на втором слоге от конца, то в словах, называющих неодушевленные предметы, оно не закрепилось пока за определенным слогом: *anáлог*, но *эпиáлог*.

Слова на *-граф*. В современном русском языке они обозначают понятие предметности (в широком смысле слова). 15 существительных, обозначающих специальность, в Толковом словаре Ушакова зафиксированы с ударением на предпоследнем слоге. За четыре десятилетия изменений в их ударении не произошло: *археóграф*, *библиóграф*, *фотоóграф* и др.

Двойное ударение имели *калькóграф*, *кристаллóграф*, *лексикóграф* и др. Теперь победил вариант, наиболее соответствующий данной модели: на предпоследнем слоге.

Сохранилось по настоящее время ударение на последнем слоге у слов *каллигáф*, *полигáф*, *маркгáф*. Примечательно, что у существительных, имеющих перед *-граф* гласный *-о-*, ударение — на втором слоге от конца. Может быть, *-и-* в словах *полиграф* и *каллиграф* и отсутствие гласного перед *-граф* в *маркграф* тормозят акцентологический сдвиг на предпоследний слог?

Новые термины на *-граф* в настоящее время входят в русский язык, как правило, с ударением на предпоследнем слоге: *демóграф*, *комедиóграф* и др.

На последнем слоге закрепилось ударение в словах *космогáф*, *ландгáф*, *логогáф*, *хорегáф*. В существительном *ландграф* оно обусловлено отсутствием гласного перед *-граф* (ср. *маркгáф*). Сдвигу ударения ближе к началу слова в *хорегáф* препятствует его фонетическое оформление (ср. *хорéбграф*). Что касается *космогáф* и *логогáф*, то ударение, противоречащее общей акцентологической модели, объясняется, вероятно, их редкой употребительностью. Возможно, в дальнейшем и в этих словах произойдет сдвиг ударения на предпоследний слог.

Довольно пеструю картину в словаре Ушакова представляют слова, не связанные с обозначением лиц: *фонóграф*, *гидрóграф*, *эйгáф*; *барóграф*, *кимóграф*, *метеорóграф*, *спектрóграф* и др. Проследившая судьбу ударения в этих существительных по данным современных словарей, убеждаемся, что один акцентологический вариант утратился — ударение закрепилось на втором слоге от конца: *кимóграф*, *марéбграф* и т. д. Только одно слово приводится

в 17-томном Словаре с двойким ударением: *барбóграф* и *барогр́аф*. В более поздних словарях в качестве литературной нормы дано *барбэграф*. Учитывая это, а также действие тенденции к передвиганию акцента в словах данного типа ближе к началу слова, следует признать рекомендацию 17-томного Словаря устаревшей.

В словаре Ушакова засвидетельствовано десять существительных с ударением на последнем слоге: *радиотелегр́аф*, *телегр́аф*, *термогр́аф*, *туманогр́аф*, *фототелегр́аф* и др. Акцентологических изменений до настоящего времени в этих словах не обнаружено, за исключением *паллбóграф* и *термбóграф*, в которых ударение сдвинулось по общей закономерности, а также *туманбэграф* и *эрбэграф*, для которых в словарях нет единой рекомендации. Новые слова получают ударение, как правило, на предпоследнем слоге: *гелибэграф*, *коронбэграф*, *осциллбэграф* и др.

*

Слова на *-метр*. 63 таких существительных различны по значению. Они обозначают названия приборов, единиц измерения, специалистов. Более половины слов в словаре Ушакова дается с ударением на предпоследнем слоге: *арифмбóметр*, *ди́аметр*, *манбóметр* и др. Показания современных словарей свидетельствуют, что данные существительные в настоящее время не способны к акцентному варьированию, ударение в них стабильно. Слова с двойким ударением — *гальванбóметр*, *геб́метр*, *гипсбóметр*, *микрб́метр*, *таксб́метр*, *спектрб́метр* и др. — утратили один из акцентологических вариантов, сохранив ударение на втором слоге от конца: *гебметр*, *гипсбметр* и др. Четыре слова *газб́метр*, *динамб́метр*, *фотб́метр*, *хордб́метр* в современном русском полностью не подверглись унификации: в 17-томном Словаре — *газб́метр*, *динамб́метр*, *фотб́метр*, *хордб́метр*, в 4-томном Словаре — *газб́метр*. Однако и в этой группе слов прослеживается тенденция к закреплению одного акцента — ближе к началу слова: *газбметр*, *хордбметр*, *динамбметр*, *фотбметр*.

Существительное *микрб́метр* имело два ударения независимо от значения. По данным современных словарей, в нем закрепилось ударение на предпоследнем слоге. Любопытно, что «Словарь иностранных слов» (1980) и «Орфоэпический словарь» зарегистрировали два слова-омографа: *микрб́метр* — в значении прибора и *микром́метр* — со значением единицы измерения (по аналогии со словами *сантим́метр*, *килом́метр*). Слова *вольтб́метр*, *петим́метр*, *килом́метр*, *телем́метр* и др. сохранили это ударение до настоящего времени. В четырех словах *радиом́метр*, *рефлектом́метр*, *рефрактом́метр*, *сахари́метр* акцентная характеристика в настоящее время изменилась.

В трех словах зафиксирован сдвиг ударения на предпоследний слог: *радиометр*, *рефлектометр*, *рефрактометр*, колеблется ударение в слове *сахариметр*. Более поздние словари, в том числе и Орфоэпический, дают *сахариметр*. Таким образом, и в этом слове в дальнейшем, очевидно, закрепится один акцентологический вариант.

Значительную группу составляют существительные на *-метр*, не зафиксированные в словаре Ушакова: *азрометр*, *вибриметр*, *гелиметр* и др. Они подчиняются наиболее распространенному акцентологическому варианту. Меньшую группу составляют слова с ударением на *-метр*: *амперметр*, *ваттметр*, *альтметр*, *дециметр*, *миллиметр* и др. Ударение на последнем слоге объясняется, по-видимому, аналогией со словами *сантиметр*, *миллиметр*.

Итак, исследованный материал констатирует изменение ударения у существительных па *-лог*, *-граф*, *-метр*. Если в словаре Ушакова еще много акцентных вариантов и слов с ударением на последнем слоге, то позднее их количество значительно сократилось. Как правило, закрепляется ударение ближе к началу слова; акцентологический вариант на втором слоге от конца является предпочтительным.

Новые термины, входящие в русский язык, получают, как правило, ударение на предпоследнем слоге. Этот факт свидетельствует об аналогии с большинством подобных слов, которые подчиняются общей акцентологической модели, более соответствующей норме русского литературного языка.

В. И. БОДРОВ
Душанбе

СРЕДИ КНИГ

К. С. Горбачевич,

**РУССКИЙ ЯЗЫК.
ПРОШЛОЕ.
НАСТОЯЩЕЕ.
БУДУЩЕЕ**

Эта книга, написанная известным ученым-языковедом К. С. Горбачевичем и выпущен-

ная издательством «Просвещение» в 1984 году, адресована учащимся 8—10 классов. Но она не является учебником или дополнением к нему. Ее главная цель — пробудить у школьников интерес к родному языку, который, по словам К. Д. Ушинского, «есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое...». К. С. Горбачевич показы-

вает русский язык в непрерывном движении и развитии, во взаимодействии с жизнью общества и культурой, во всем величии его «собственного пространства» (М. В. Ломоносов). Книга состоит из трех глав: «Так говорили наши предки», «Язык наших дней», «Взгляд в будущее».

Первая глава, посвященная истории русского языка, охватывает период с X до середины XIX века, по существу от начала распространения письменности на Руси до языка пушкинской эпохи. Обращаясь к начальному историческому периоду развития русского языка, К. С. Горбачевич показывает жанровое разнообразие древнерусской письменности, границы которой простирались от переводной богослужебной литературы до берестяных грамот, составлявших частную переписку жителей Новгорода. Об открытии новгородских грамот говорится особо — как о неоспоримом доказательстве широкого распространения грамотности в Древней Руси. Наряду с другими свидетельствами этот факт развенчивает попытку принизить уровень культуры древнерусской народности. Достаточно подробно читатель познакомится и с вершинными произведениями древнерусской литературы, такими, как «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», и другими.

В следующем разделе главы рассказано о русском языке Московской Руси, о взаимодействии церковнославянской и русской языковых стихий, о путях становления национального языка. Сложность развития языка в этот период показана на многочисленных и разнообразных фактах: от

так называемого «второго южнославянского влияния» до языка произведений протопопа Аввакума, отношение которого к русскому языку отчетливо выражено в следующих словах: «...люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красоты».

Много интересных сведений в книге о языке Петровской эпохи (прежде всего о западноевропейских заимствованиях и их судьбе в русском языке); о «Российской грамматике» М. В. Ломоносова и его стилистическом учении; о «новом слоге» Н. М. Карамзина и борьбе вокруг этого литературного направления; о роли творчества А. С. Пушкина в становлении единых норм русского литературного языка и о Толковом словаре В. И. Даля, справедливо именуемом энциклопедией народной жизни и сокровищницей русского слова.

Читатель познакомится и с древнерусской лексикой (со словами *зод, мыт, куна, гривна, головник* и другими), узнает о том, что такие хорошо известные сегодня слова, как *вокзал, партизан, самолет*, раньше имели совсем другие значения (самолетом, например, называли и особый челн в ткацком станке, и орудие для пахоты, и особый самоходный паром).

*

Вторая глава начинается с рассказа о русском языке революционной эпохи. Один из разделов посвящен влиянию научно-технической революции на язык. Показав наиболее яркие процессы современной эпохи (создание и заимство-

вание большого числа терминов, освоение терминологии литературным языком), автор приходит к выводу, что, несмотря на всю значительность происходящих изменений, нет никаких оснований говорить ни о новом качестве самого русского литературного языка, ни о стирании его национальных граней.

Много интересного читатель узнает о лексике современного русского языка, в частности о том, когда были созданы или введены в употребление слова *водород, газ, головотяп, миллипут, нейтрино, промышленность, робот* и нек. др.

Большое внимание уделяет автор проблемам нормы и культуры речи. «Речь человека, — отмечает К. С. Горбачевич, — это лакмусовая бумажка его образовательного уровня, общей культуры». Предостерегая от пуристических и вообще субъективных взглядов на язык, он в то же время указывает на необходимость противодействия нежелательным явлениям в современной речи. Одним из наиболее тяжелых (и к тому же хронических) недугов, по его мнению, является злоупотребление иностранными словами — именно злоупотребление, а не усвоение иноязычной лексики, которая в целом обогащает язык. Разговор об иностранных словах и отношении к ним более чем уместен в книге для молодежи: ведь именно бездумное увлечение «заграничными словечками» (главным образом, англицизмами) составляет, пожалуй, самую непривлекательную черту современного молодежного жаргона.

На проблеме языка молодежи, вокруг которой то и дело вспыхивают горячие споры,

автор останавливается специально. Здесь говорится о причинах возникновения и существования жаргона, анализируются конкретные жаргонизмы, включая самые современные. Оценивая жаргон как «детскую болезнь» в языке, К. С. Горбачевич замечает, что грозные окрики и лингвистические нравоучения мало помогут ее излечению. Главное заключается в приобщении молодежи к истинным ценностям мировой и отечественной культуры, в том числе — к русскому литературному языку.

Завершает главу рассказ о русском языке как средстве межнационального общения в нашей стране, о его распространении в современном мире. Показан тот большой вклад, который русский язык, будучи выразителем революционной идеологии, «хранителем одной из величайших литератур мира» (В. В. Виноградов) и языком передовой науки, вносит в сокровищницу советской и мировой культуры.

* * *

Заключительная глава — «Взгляд в будущее» — посвящена важной и сложной проблеме языковых прогнозов. Не преувеличивая возможностей современной науки, К. С. Горбачевич в то же время подчеркивает, что в наши дни прогнозирование языкового будущего становится настоятельной потребностью. Однако при этом необходима тщательная разработка тактики языковых прогнозов. Основными звеньями такой работы автор полагает следующие: ориентацию на социологические данные о будущих чертах советского общества и русской на-

ции; выяснение внутренних причин языковых изменений; установление и учет основных устойчивых тенденций в развитии языка; привлечение материалов современной речи.

К. С. Горбачевич предлагает ряд конкретных прогнозов, в основном связанных с развитием норм русского литературного языка. Исходя из ряда предположений, он считает, что в ближайшем будущем окончательно утвердятся наконецное ударение во множественном числе кратких прилагательных: формы типа *близкий, верный, простый*, распространенные и сегодня, полностью вытеснят из употребления традиционные варианты — *близки, вёрны, прбсты*. Читатель найдет в книге и более общие, долгосрочные прогнозы. Так, по мнению автора, в будущем сознательное управление языком примет повсеместный и всеохватывающий характер.

Книга «Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее» насыщена обширным и разнообразным материалом, который помогает автору создать целостную картину жизни языка на протяжении его многовековой истории. К. С. Горбачевич выступает не только в роли интересного рассказчика — он размышляет над судьбами русского языка и приглашает к размышлению читателя. Хотя эта увлекательно и живо написанная книга адресована школьникам, она, несомненно, будет встречена с интересом всеми, кто любит русский язык и стремится пополнить свои знания о нем.

С. И. ВИНОГРАДОВ,
кандидат
филологических наук

В. Г. Костомаров.

ЖИЗНЬ ЯЗЫКА

Известно, как трудно писать о науке популярно. Но, наверное, еще труднее посвятить в какую-либо отрасль науки, не упрощая ее проблем, совсем юного читателя, как правило, имеющего о ней лишь общее представление.

Почетна и высока роль ученых, берущихся за решение этой сложной, но бесконечно благородной задачи. В 1984 году Библиотечка Детской энциклопедии «Ученые — школьнику» (издательство «Педагогика») пополнилась поучительной книгой. Называется она «Жизнь языка», написал ее известный советский филолог член-корреспондент Академии педагогических наук СССР В. Г. Костомаров.

В компактной, небольшой по объему книжке автору удалось показать историю языка русского народа, развертывая ее от современности к древности. При этом различные сведения из истории русского языка преподносятся читателю в форме диалогов, размышлений или комментариев многочисленных героев. Да, в этой книге есть герои! Одни из них спорят друг с другом, другие читают лекции, третьи просто рассказывают, четвертые поясняют и т. п. Это научно-художественное повествование объединяет главная героиня — девочка-школьница, наша современница. Ее живой интерес к русскому языку, его происхождению, истории и развитию позволяет девочке совершить увлекательное путешествие в прошлое с остановками в каждом столетии, «чтобы увидеть, послушать русский язык на

разных этапах его истории...». Для чего это необходимо? Какую задачу ставил перед собой автор, адресуя свой труд юным читателям? В своем предисловии-обращении к ним В. Г. Костомаров говорит о том, что он хотел «расширить кругозор молодых читателей, привить им естественную, важную, но часто забываемую, патристическую мысль о том, что мы сами, как и наш язык, — какой-то итог предшествующего развития. Не зная, что было, из чего все вышло, не найдешь себя и не создашь грядущего».

Автор дает удивительно достоверные образцы разговорной речи разных столетий, вкладывая ее в уста представителей различных социальных слоев и воссоздавая тем самым подлинный колорит каждого времени: « — По чести говорю, ужесть как они славны. Беспримерные щеголи. Grand Dieu, я бесподобно утешалась: у них все славно — слог расстеган, мысли прыгаючи, шутят славно — умора! Это нас, щеголих, вечно прельщает. Пуще всего они ластят тем, что никак с тобой не спорят, стараются оказывать учтивости. И без всякой диссимюляции, если имеют инклинацию.

— Значит, без притворства, если имеют склонность? — робко переспросила одна из слушательниц, а Настя про себя вспомнила: *кабригит, ухлестывает, подбивает клинья*. Недалеко ушел век XX от XVIII!»

Как видим, высмеивая словесные выкрутасы прошлого, автор не упускает случая за-

деть пристрастие к жаргону и у нынешней молодежи. Безусловно, вот такой коротенький эпизод, а их в книге много, окажет на юного читателя куда более эффективное воспитательное воздействие, нежели длинная нотация о том, что изъясняться на жаргоне — дурно. «Пора бросить эти „возникать“, „балдеж“, „лажа“, „нон-стоп“», — делает решительный вывод героиня книги, как бы призывая и своих сверстников последовать ее примеру.

Жизнь русского языка от его истоков до наших дней — можно ли объять необъятное в одной маленькой книжечке? Автору это. безусловно, удалось. Насыщенное, предельно сконцентрированное повествование чрезвычайно богато тонкими наблюдениями, глубокими, публицистически ярко выраженными мыслями, которые не смогут оставить равнодушными ни одного читателя — ни юного, ни взрослого. «Язык — не просто звуки, в нем труд, и пот, и муки, шум лесов, цветение поля, волны радости народной, — читаем в заключительной главе книги. — В нем разум класса, кровь и воля от давних дней и по сегодня». И автор призывает нас «осознать и знать историю, оглянуться, чтобы собраться с силами, новым взором на себя взглянуть, продолжить путь, раз он того стоит. Это необходимо для развития нашего языка, который мы обязаны передать как драгоценнейший дар потомкам».

Н. А. РЕВЕНСКАЯ

ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ГОВОРИМ?

КАК ОБРАТИТЬСЯ К НЕЗНАКОМОМУ ЧЕЛОВЕКУ?

Этот вопрос, заданный в № 1 «Русской речи» за 1984 год, вызвал живой отклик читателей. «Журналом поднят очень важный вопрос. Важность его выходит за пределы вопросов культуры речи. Не откликнуться невозможно», — пишет Л. М. Шелгунова (Волгоград). Авторы писем совершенно верно оценивают форму обращения как показатель общей культуры, взаимоуважения, взаимного внимания (М. В. Фролов, Свердловск). «Мы, работники отделения связи, постоянно должны обращаться к нашим посетителям и очень нуждаемся в грамотной консультации по вопросу культурного общения с нашими клиентами» (М. М. Балашова, Москва).

Вопрос этот обсуждался в нашей печати не однажды. Уже прошло два десятилетия, как писатель В. А. Солоухин предложил поискать слово-обращение к незнакомому человеку (Неделя, 1964). Молодым читателям «Комсомольской правды» отвечал писатель Лев Успенский в 1977 году. В «Литературной газете» печатаются материалы по этому же вопросу. Летом 1984 года на ее страницах поделился своими размышлениями доктор филологических наук Л. И. Скворцов. Представить общественное мнение стремилась и телепередача «Русская речь» (1984, июнь).

*

Что же предлагают читатели журнала «Русская речь», каково их мнение?

Заметим, предложения, рассуждения их подчас очень разные, даже противоположные, однако есть много и еди-

номышленников. Познакомимся с письмами, вот некоторые из них.

«В любом случае можно обратиться: *товарищ*... В слове *гражданин* есть что-то казенное...» (Л. П. Иванова, село Андреевка Новосибирск. обл.); «Обращение *товарищ* — официальное обращение. На всех его не распространить...» (А. И. Постников, Таллин); «Лучшего, чем *гражданин* и *гражданка*, сейчас, пожалуй, ничего не придумаешь» (А. Колычев, Ленинград). На обращении *гражданин*, *гражданка*, *граждане* настаивает наша постоянная читательница Г. П. Загородняя (Ольшана-1 Черкасской обл.). Этому же мнения придерживается П. Е. Абросимов (Бахчисарайский район, Крым). А вот И. Н. Мазур (п. Пахачи) самым приемлемым для нашего социалистического общества считает обращение *товарищ*. «Вторым видом или формой обращения, думается, является *гражданин* и *гражданка*, как более общее и универсальное, — пишет автор этого письма. А. М. Колесниченко из Одессы сообщает: «К мужчине обращаюсь словом *товарищ*, а к женщине — *уважаемая*».

Товарищ или *гражданин* вообще допускают все наши читатели, но выделяют их как официальные или очень высокие. А в быту, в повседневности? Москвичка Клавдия Николаева соглашается с обращениями *мужчина!*, *женщина!*, *девушка!*, *молодой человек!* «Но никаких *мамаш*, *бабуль* и *тётенек*... При всей желательности у нас не может быть других обращений. Поэтому и приходится прибегать ко всем этим — *послушайте; скажите, пожалуйста; будьте добры*... Что тут придумаешь, если даже безобидную *сударыню* высмеяли».

Однако многие читатели ратуют именно за обращение *сударыня*. М. З. Саравайский из Севастополя отмечает затруднение при обращении: «*Девушка!* (А ей за сорок...) *Мужчина!*.. *Женщина!*.. (Грубо, неуклюже)... А ведь в русском языке были *сударь* и *сударыня*. Куда они подевались?» Одна из читательниц — Н. В. Рудык из Ташкента — уверяет: «*Сударь* и *сударыня* — Будет очень правильно Незнакомых лиц так звать».

Читатели помнят статью В. А. Солоухина и поддерживают его: «Я целиком и полностью согласен с В. А. Солоухиным, предлагающим старое русское обращение *сударь* и *сударыня*...» (А. Н. Терехов, Ильичевск Одесской обл.). Есть письма, адресованные писателю: «Уважаемый Владимир Алексеевич! Вы правильно подняли вопрос

о том, что в современном русском языке отсутствует слово-обращение к незнакомому человеку. Я — коренной ленинградец — заметил, что в последние годы в нашем городе начала бытовать новая форма обращения: *женщина!*, *мужчина!*... Откровенно говоря, меня такая форма обращения коробит...» (Д. А. Аминов. Ленинград).

Авторы некоторых писем считают, что *сударь* и *сударыня* — «слова нафталиновые» (Г. П. Загородняя), «звучат как-то сухо и не совсем уважительно» (Г. Н. Кобешавидзе, Батуми); «чужие, не наши, связанные со словами *господин, государь*» (П. Е. Абросимов, И. Н. Мазур). «А не все равно, как назовут?!» — такое мнение неожиданно высказала группа инженеров-программистов, проектировщиков.

Особенную заботу о культуре общения высказывают читатели из наших республик, в которых национальные языки имеют строгую систему обращений к незнакомому человеку. Вот как описал их употребление в узбекском языке школьный учитель К. Д. Бекбутаев (школа № 34 имени Н. В. Гоголя, Сырдарьинская обл.): «К старшим — *ака*, то есть по-русски «брат», к женщине — *она* «сестра», к человеку почтенного возраста — *бобо* в знак уважения...»

В анкете, распространенной среди студентов-стажеров из ГДР (МГПИИЯ им. Мориса Тореза), было обнаружено, что просторечные обращения *мужчина!*, *женщина!* они воспринимают как устное нормативное (литературное) употребление. Однако отметим, что здесь нет аналогии с немецкими обращениями *Frau!* и *Hei!* В немецком языке для обозначения различий по принадлежности к определенному полу есть другие слова: *Weib* «женщина» и *Mann* «мужчина»; как форма обращения они не употребляются. Именно эти слова тождественны нашим *женщина* и *мужчина* (отвечаем на вопрос москвички К. Николаевой). Подобное наличие двух пар слов существует во многих языках. А русский язык имеет только одну подобную пару (слова-обозначения) и не имеет другой пары — слов-обращений.

В присланных письмах много интересного материала (В. Петрецов, Москва; Е. А. Резцова, Москва; А. С. Лейбин, Харьков; и др.). Доцент кафедры стилистики русского языка Литературного института имени А. М. Горького Л. А. Качаева напоминает об обращениях в других славянских языках, например в болгарском — *другарь* и *другарка*.

Безлико, хотя и вежливо, «обращение без обращения»: *будьте добры!*, *пожалуйста!* А кто собственно должен быть добр (хотя момент общения подсказывает, кто)? Ведь ясно, что с телеэкрана обращаются к нам, телезрителям. Но вот известный искусствовед начал свой рассказ просто так: «Фильм посвящен...» А с кем он говорит, с кем вступил в общение с голубого, домашнего экрана?

Об уважительном обращении, о воспитании этого чувства со школьной скамьи — многие письма. Об этом нам пишут М. Н. Терешкова (Москва), О. Тукуреев (Красноярский край), В. И. Чернов (Сочи) и многие другие. Читатели не полагаются на субъективное мнение, на свой вкус. Интересуются, что означают слова-обращения, каково их происхождение: «Объясните, пожалуйста, происхождение слов *сударь* и *сударыня*. Если это исконно русские слова, почему бы ими не пользоваться?.. Вернули же мы слова *солдат*, *офицер*, *генерал*...» (Л. А. Дремина, Ленинград).

*

Разберемся в значениях слов-обращений, осмыслим их и оценим. Начнем со слов самых спорных, чаще всего звучавших в письмах, — *сударь* и *сударыня*.

Эти древнерусские слова по своему происхождению действительно связаны с *государь* — *государыня*, *господарь*, *господин*. Этими словами называли хозяина, владельца, а также выражали определенную степень уважения (*государь-батюшка*, *сударыня-матушка* или *господин корабля* «кормчий»), величания (*Господин наш великий Новгород*). Это были формы особо почтительного обращения.

Словари современного русского литературного языка сообщают, что *сударь* и *сударыня* (сокращения от *го-сударь* — *го-сударыня*) — это устарелые формы вежливого обращения к мужчине и женщине (обычно из привилегированных слоев общества): «Богатого величали сударем, Семенычем, а бедного — просто Иваном, а иногда и Ивашкой» (Салтыков-Щедрин. Невинные рассказы); «Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть» (Гоголь. Ревизор).

Сударыня могло быть и фамильным обращением. И вот здесь отметим очень интересное явление. В разговорном языке, в фольклоре, а затем и в художественной

литературе происходит разнообразное осмысление слов *сударь* — *сударыня*, возникают ряды производных слов. Сравним ярко социальное восприятие слова *сударь* и обобщенной формы *сударьё*: «Ты сударь, и я сударь, а кто жё хлеба пахарь?»; «Тут все сударьё сошлось, все бары, баричи». Это отметил В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка». У него же находим производные *сударик* (ласково, дружественно), *сударчик* (насмешливо — о белоручке), *сударка* (с укором — «любовница») и ласково — *сударушка*. Как у Н. А. Некрасова в «Коробейниках»:

Эй, Федорушки! Варварушки!
Отпирайте сундуки!
Выходите к нам, сударушки,
Выносите пятаки!

Эмоциональное разнообразие этих слов отразилось и в языке А. С. Пушкина, то ироничное, то ласковое:

Поэта окружают
С улыбкой остряки.
«Ах, сударь, мне сказали,
Вы пишете стишки...»

К Дельвигу

В ту пору медведь запечалился,
Голову повесил, голосом завыл
Про свою ли сударушку,
Чернобурую медведиху.

Сказка о медведихе

Вместе с тем щедрое словотворчество в народной речи почти не касалось системы обращений. Некоторые слова и сейчас живут, например, в газваниях: перстенок ростовской финифти *сударушка*; «Сударушка» — так называли свой клуб работницы автозавода имени Ленинского комсомола (Веч. Москва, 1982, 27 февр.).

Но в истории слова *сударь* есть и такая сторона. Строгий социальный этикет требовал определенного обращения к разным по социальному положению лицам: *милостивый государь!* *милостивый государь мой!* *государь мой!* А в устной речи произошло еще одно сокращение: *государь* — *осударь* — *сударь* и, наконец, — *с* (в старой орфографии *съ*). От слова остался один звук — начальное *с* (буква, назы-

вавшаяся «слово») и ъ «ер» — знак твердого произношения с, отсюда выражение — «говорить со словоерсами», т. е. почтительно. Помните, как осудили Евгения Онегина его соседи:

«...Он дамам к ручке не подходит;
Все да да нет; не скажет да-с
Иль нет-с». Таков был общий глас.

Градация слов-обращений соответствовала ступеням социальной лестницы. Именно эту сторону в жизни самого краткого варианта слова *сударь — с (съ)* — показал Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых»: «— Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с... Скорее бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Словоерс приобретается в унижении... Всё не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами».

Употребление *сударь — словоерс* затенило и ласковое, и дружеское, и проничное восприятие слова. Может ли оно вернуться подобно вторично родившимся *солдат, офицер, генерал*? Ведь второе рождение этих слов было определено их же основным значением — «защитники Родины», иное осмысление осталось в прошлом, в ушедшей эпохе (см. об этом: Русская речь, 1978, №№ 1, 6).

Многие уже не ощущают былую сниженную социальную окрашенность слов *уважаемый, уважаемая*. Они стояли в одном ряду со словами *любезный, человек* в обращении к слуге. *Женщина!, мужчина!, сестричка!, браток!, мамаша!, папаша!, дедуля!, бабуля!, дяденька!, тетенька!* — все эти обращения просторечны и ситуативно ограничены. Они могут быть и неприятными, и неуместными: *Женщина в кофте, пройдите вперед! Девушка, это ваши дети на газоне? Эй, парень, у тебя какое место? Шеф, такси свободно? Дама, вы последняя на маникюр? Папаша, пенсне уронили*. Вот эпизод из пьесы А. Розанова «Ночь ангела». «Седой племянник Петя Трофимов», стремясь остановить незнакомого ему человека, бросается — и пауза (не знает, как окликнуть). Человек уходит, и тогда Петя кричит: «Дяденька!..» И этим детским возгласом уже седовласый Петя выдает свою инфантильность.

Но возможно ли заменить все эти обращения, например, словом *товарищ* во всех ситуациях?

У слова *товарищ* — своя большая история. Первоначальное значение, вероятно, «компаньон в торговле». Но в те далекие времена *торговать* — это ездить, путешествовать, делить и радости и беды, выручать друг друга: *быть в товарищах, принять в товарищи, чувствовать локоть товарища, плечо товарища, товарищ по несчастью, надежный товарищ, счастлив в товарищах, товарищ по работе, товарищ по полку, по университету*. Слово *товарищ* — единомышленник, человек, участвующий в одном деле, связанный узами дружбы, идейной борьбы, — встречаем в пушкинских строках:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

К Чаадаеву

И, наконец, *товарищ* — «человек нового социалистического общества, советский человек». О новом рождении этого слова, о его роли мы найдем замечательные строки у Максима Горького: «В их жизнь, полную глухой, подавленной злобы, в сердца, отравленные многими обидами..., было брошено простое, светлое слово: Товарищ!.. Они прищипали его и стали произносить осторожно, бережливо, мягко колыхая его в сердце своем, как мать поворожденного колышет в люльке... И чувствовали, что это слово пришло объединить весь мир, поднять всех людей его на высоту свободы и связать их новыми узами, крепкими узами уважения друг к другу, уважения к свободе человека, ради свободы его» (Горький. Товарищ!).

В газетном языке за последние десятилетия распространилось образное употребление слова: *товарищ любовь, товарищ песня, товарищ вуз, товарищ Москва* (более подробно о слове *товарищ* можно прочитать в книге Л. Борового «Путь слова»).

*

А теперь о слове-обращении *гражданин* — *гражданка* и *граждане*. В Толковом словаре В. И. Даля *гражданин* — это городской житель, горожанин... С конца XVIII века

слово приобретает новое осмысление «член общества, общественный деятель». В данном значении слово *гражданин* в русском языке закрепилось прежде всего благодаря А. Н. Радищеву, его «Путешествию из Петербурга в Москву». В XIX веке оно связано с декабристами, живет на страницах произведений Пушкина, Белинского, Герцена...

Высокий смысл этого слова особенно выделился после Октября, когда официальные наименования горожан — *обыватель, мещанин* (как и наименования сельских жителей) сменило одно, равно относящееся ко всем лицам нашей страны, — *гражданин*. В «Повести о жизни» К. Паустовского читаем: «Помолодели лица, засияли мыслью и добротой глаза. Обывателей больше не было. Были граждане, а это слово обязывало». Слово освещено революционными традициями и нашей современностью: «Следуя ленинским заветам, партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего как гражданин, активный строитель коммунизма... Чтобы он, гражданин, патриот, не дрогнул, не согнулся под грузом исторической ответственности за судьбу страны, за судьбу социализма и мира» (Передовая. — Сов. культура, 1984, 30 июня).

Так формировались значения слова *гражданин*, отмечаемые теперь словарями современного русского языка: 1) лицо, принадлежащее к определенному государству, пользующееся покровительством законов своего государства и обязанное выполнять все требования, установленные законами этого государства; 2) общественно-полезный, преданный своему отечеству человек (17-томный Словарь).

В телевизионном сериале «ТАСС уполномочен заявить...» был такой примечательный в языковом отношении эпизод. Идет расследование обстоятельств смерти Ольги Винтер. Полковник Макаров не назвал себя, и врач спрашивает, как он может к нему обратиться. «Меня называют Павел Трофимович, товарищ полковник, гражданин полковник...», — отвечает полковник и предлагает собеседнику самому выбрать форму обращения. Врач выбирает *Павел Трофимович*. Форма обращения здесь имеет большой внутренний смысл. Право честного человека обратиться при всем уважении как к равному — *Павел Трофимович. Товарищ полковник* — это обращение связывает

общим делом. *Гражданин полковник* — обращение чисто официальное, единственно возможное в ситуациях морального и этического неравенства обращающегося.

*

Цена высокие, полные глубокого смысла слова *товарищ* и *гражданин*, отнесемся к ним с уважением и не будем утверждать, что в бытовой ситуации (в магазине, на рынке, в парикмахерской — в любой сфере обслуживания) эти замечательные слова всегда окажутся к месту. Можно выбрать из целого ряда обращений — *товарищ*, *гражданин* — *гражданка*, *девушка* — *молодой человек*, и, наконец, *пожалуйста*, *будьте добры* — с интонацией просьбы, уважения, внимания.

Каждое обращение должно быть уместным в определенной ситуации, в конкретных условиях. Будем воспитывать чувство слова, умение владеть своей речью. Роли художественной литературы в воспитании лингвистического вкуса, важности речевого поведения была посвящена статья директора Института языкознания АН СССР академика Г. В. Степанова в «Литературной газете» (1984, 27 июня).

А. А. БРАГИНА,
доктор филологических наук

«Русская речь» благодарит всех читателей, принявших участие в обсуждении.

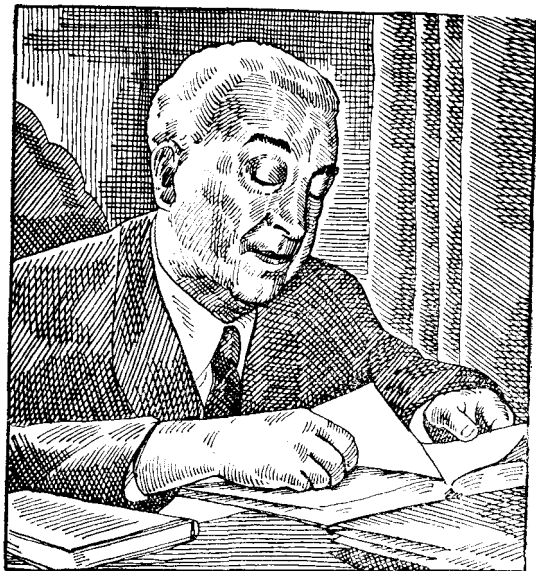
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«С каким ударением надо произносить русские фамилии, оканчивающиеся на *-ов* и на *-ин*?»

Л. И. Соколова, Вязники

Ударение в русских фамилиях не закреплено за каким-либо определенным слогом, оно обусловлено традиционным произношением. Сравните: *Ива́нов* и *Иванбе*, *Язы́ков* и *Языкбе*, *Нови́ков* и *Новикбе*, *Да́шков* и *Дашкбе*. Это фамилии на *-ов*. В фамилиях на *-ин*, ударение может падать на основу слова: *Ба́бушкин*, *Са́вушкин*, *Доли́нин*, *Каса́ткин*, *Кали́нин*, *Ре́пин*, *Соба́кин*, *Ники́тин*, *Кура́кин*; и на окончание: *Москви́н*, *Сосни́н*, *Кара́мзи́н*, *Репни́н*, *Шеба́лин*.

К 90-летию
со дня
рождения



Виктор Владимирович
ВИНОГРАДОВ
1895—1969

Виктор Владимирович Виноградов — выдающийся филолог современности, с именем которого связана целая эпоха в развитии отечественного языкознания. Научная деятельность В. В. Виноградова продолжалась на протяжении полувека. Он написал большое число исследований по различным проблемам филологической науки. Это труды по теории, истории и методологии языкознания, исторической фонетике и диалектологии, современной и исторической лексикологии, лексикографии, фразеологии, грамматике, истории русского литературного языка, стилистике русского языка, стилистике художественной речи, эвристике и текстологии, теории орфографии и культуре русской речи, литературоведению. Отточенность методологии научного познания, энциклопедизм знаний, свободное владение бесчисленным множеством фактов языка и литературы, умение строить из них цельные системы, точность

и углубленность исследовательского анализа — все эти качества, характеризующие каждого выдающегося филолога, были в высшей степени свойственны творческому дарованию В. В. Виноградова.

Моральной основой труда филолога, считал В. В. Виноградов, является вера в необходимость лингвистического и эстетического изучения истории и современного состояния национальной духовной культуры, запечатленной в памятниках литературы и языка, и выполнению этой цели можно посвятить всю жизнь. Сам Виктор Владимирович своим творчеством показал образец такого служения науке и отечественной культуре.

*

В. В. Виноградов родился 12 января 1895 года в г. Зарайске Рязанской губернии. В 1918 году он окончил Историко-филологический институт и одновременно Археологический институт и был оставлен своим учителем академиком А. А. Шахматовым для подготовки к профессорскому званию в Петроградском университете. Его магистерская диссертация по истории звука *ъ* в севернорусских говорах получила высшую оценку академиков Е. Ф. Карского и Л. В. Щербы. Вскоре В. В. Виноградов начал вести научно-исследовательскую работу в Петроградском университете и читать лекции по современному русскому языку, истории русского литературного языка, стилистике. В 20-е годы ученым были созданы исследования о стиле Гоголя, Достоевского, современных писателей, о теории поэтического языка, о задачах стилистики, о художественной прозе и др.

В начале 30-х годов В. В. Виноградов переезжает в Москву. В университете, в педагогических институтах столицы он читает общие курсы современного русского языка, истории литературного языка, стилистики, ведет разнообразные по своей тематике специальные курсы по теории лексикологии и лексикографии, словообразованию, синтаксису, стилю писателей XVIII—XIX веков, эвристике, методологическим проблемам языкознания, истории науки о языке.

В 1934 году выходят его «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков» (II изд. — 1938; III изд. — 1982) — книга, которая до сих пор не имеет себе равных в истории русского языкознания по широте постановки проблемы и по охвату материала. Идеи и концепция «Очерков» возникли заново, так как В. В. Виноградов в данной области языкознания не имел предшественников, а те ученые, которые занимались этим (С. К. Булич, Е. Ф. Будде, А. И. Соболевский и др.), понимали свои исследовательские задачи довольно ограниченно, видя их только в описании

и коллекционировании фактов языка. «Очерки» В. В. Виноградова, его книги о языке Пушкина («Язык Пушкина», «Стиль Пушкина»), а также статьи и книги о древнерусском литературном языке и о славянских литературных языках положили начало истории русского литературного языка как новой научной дисциплины в лингвистике и как одного из предметов преподавания в высшей школе.

Ученый постоянно подчеркивал, что построение цельной и безупречной системы истории русского литературного языка является для одного ученого задачей непосильной. «Необходимы коллективные усилия русских филологов по подготовке материала для создания научной истории русского литературного языка, которая должна составить органическую часть истории культуры русского народа», — писал В. В. Виноградов в Предисловии ко второму изданию «Очерков по истории русского литературного языка XVII—XIX веков». Книга вызвала к жизни множество монографий, статей, публикаций тезисов, в которых получили дальнейшую разработку эти проблемы.

Параллельно с историей русского литературного языка В. В. Виноградов создает серию исследований по стилистике художественной речи, по языку писателя, которые позволили ученому обосновать предмет, задачи, методологию новой филологической дисциплины — науки о языке художественной литературы. «Важно, — писал он в книге «О языке художественной литературы», — чтобы специфичности объекта изучения — „языка“ (или стилей) художественной литературы — соответствовали и те понятия, категории и методы, которые вытекают из познания внутренней сущности или структуры этого объекта. По моему глубокому убеждению, исследование „языка“ (или лучше, стилей) художественной литературы должно составить предмет особой филологической науки, близкой к языкознанию и литературоведению, но вместе с тем отличной от того и другого».

Изучение языка и стиля русских писателей было бы невозможно без ясного представления о задачах и проблемах стилистики как теоретической дисциплины, изучающей способы и приемы употребления языка в различных сферах общественно-речевой практики и словесно-художественного творчества, в различных условиях речевого общения. С середины 50-х годов стилистика становится одной из ведущих дисциплин в филологии. И значение трудов В. В. Виноградова, таких как «Проблема авторства и теория стилей», «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика», «О теории поэтической речи», в этом научном движении огромно.

Сложность задач, стоящих перед стилистикой, позволила В. В. Виноградову выделить в ней «три разных круга исследований,

тесно соприкасающихся, часто взаимно пересекающихся и всегда соотносительных, однако наделенных своей проблематикой, своими задачами, своими критериями и категориями): 1) стилистика языка, или структурная стилистика, изучающая стили языка (разговорный, научный, деловой, газетно-публицистический, официально-канцелярский и др.); 2) стилистика речи, анализирующая разные жанры и виды устной и письменной речи: выступление в дискуссии, лекция, консультация, пресс-конференция, доклад, беседа и т. п.; передовая статья, научная рецензия, приветственный адрес и т. п.; 3) стилистика художественной литературы, исследующая стили писателя, произведения, литературного направления (см.: Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика).

Для установления характерных особенностей индивидуального стиля В. В. Виноградов вводит в стилистику художественной речи новое понятие — «образ автора», в речевой структуре которого объединяются все качества и особенности стиля художественного произведения. По мнению ученого, автор — выразитель определенного идеологического и литературно-эстетического направления, стилистического вкуса.

*

В творческом наследии В. В. Виноградова центральное место занимают грамматические исследования. Первый такой труд ученого посвящен частям речи в русском языке. В 1938 году выходит «Современный русский язык» в двух выпусках, затем были опубликованы работы о формах слова, о грамматической омонимии, о синтаксической системе. В 1947 году появляется «Русский язык» (II изд. — 1972), где излагается стройная и законченная система — «грамматическое учение о слове». Этот труд является настольной книгой каждого филолога.

В 50-е и 60-е годы В. В. Виноградовым издан цикл работ о словообразовании, о синтаксисе словосочетания и предложения, о модальности и предикативности. В 1952—1954 годах выходит в свет академическая «Грамматика русского языка», в которой В. В. Виноградов выступает как руководитель коллектива ученых и автор многих разделов.

Широко известны работы Виктора Владимировича по лексикологии и фразеологии, семасиологии, лексикографии. В 30-х годах он создал книгу по исторической лексикологии русского языка, отдельные фрагменты которой публиковались в виде статей по истории слов. Около ста этюдов по истории слов и выражений было напечатано, но еще больше историко-лексикологических материалов осталось в архиве ученого и ждет публикации.

В. В. Виноградов придавал большое значение исторической лексикологии и семантике: «Язык обогащается вместе с развитием идей, и одна и та же внешняя оболочка слова обрастает побегими новых значений и смыслов. Когда затронут один член цепи, откликается и звучит целое. Возникающее понятие оказывается созвучным со всем тем, что связано с отдельными членами цепи до крайних пределов этой связи...

Русскому (как и другому) национальному языку свойственна своеобразная система образования и связи понятий... Объем и содержание обозначаемых словами понятий, их классификация и дифференциация, постоянно проясняясь и оформляясь, существенно и многократно видоизменяются по мере развития языка. Они различны на разных этапах его истории» (см.: Русский язык. Изд. 2-е):

Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина возникла в 40-х годах. В трудах В. В. Виноградова «Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины» и «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке» рассмотрены понятия фразеологии, ее объем и задачи, принцип классификации фразеологизмов. В. В. Виноградов обосновал предмет исторической фразеологии русского языка (см., например, его статьи по истории фразеологизмов *муху зашибить*, *в сорочке родился*, *втереть очки*, *танцевать от печки*, *лить пули* и др.).

Много внимания уделял В. В. Виноградов лексикографической работе. Он один из авторов 4-томного «Толкового словаря русского языка», созданного группой ученых под руководством проф. Д. Н. Ушакова, ответственный редактор «Словаря языка Пушкина» (в 4-х томах); В. В. Виноградов также участвовал в редактировании 17-томного «Словаря современного русского литературного языка». После работ Л. В. Щербы по теории лексикографии он продолжил теоретические исследования, в которых уточняются методика и приемы создания словарей разных типов и видов.

В. В. Виноградов — крупный историк филологической науки. Ему принадлежат обобщающие труды: «Русская наука о русском литературном языке», «Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР» (1955), «Из истории изучения русского синтаксиса. От Ломоносова до Потебни и Фортунатова». Он — автор многочисленных статей, предисловий, кратких монографий о Ломоносове, Шахматове, Востокове, Потебне, Бодуэне де Куртене, Якубинском, Обнорском, Тынянове, Чернышеве и др.

Все, кто знал В. В. Виноградова, учился у него, работал с ним или просто был свидетелем части его жизненного пути, помнят необычайную работоспособность Виктора Владимировича, энергичность, принципиальность и умение смело и бескомпромиссно от-

стаивать свои взгляды. Таким был он в начале творческого пути, таким был и в последние годы своей жизни (В. В. Виноградов скончался 4 октября 1969 г.).

Академик В. В. Виноградов всегда был центром, лидером в филологической среде, в филологической науке. Это особенно ярко проявилось в конце 40-х годов, затем в 50-е и 60-е, когда он был заведующим кафедрой русского языка и деканом филологического факультета Московского университета, академиком-секретарем Отделения литературы и языка АН СССР (действительным членом Академии наук СССР В. В. Виноградов был избран в 1946 г.), директором Института языкознания, а потом Института русского языка АН СССР, главным редактором журнала «Вопросы языкознания», членом редколлегии журнала «Русская речь» и других журналов, председателем Советского комитета славистов, первым президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). В. В. Виноградов был избран членом многих иностранных академий и научных обществ, почетным доктором ряда университетов. Труды В. В. Виноградова широко издавались и переиздавались в нашей стране и за границей. Он подготовил большое число учеников в области русского и славянских языков, которые работают в университетах и в академических научных учреждениях нашей страны и за рубежом.

Комиссия по научному наследству В. В. Виноградова и издательство «Наука» выпустили в свет пять томов его «Избранных трудов» и подготовили к печати два тома его исследований языка русских писателей. Издательство «Высшая школа» переиздало книги «Русский язык», «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.», сборник статей по истории лингвистических учений, по стилистике, по проблемам художественной речи. В Институте русского языка АН СССР и на филологическом факультете Московского университета ежегодно в январе проводится «Виноградовские чтения». В издательстве «Просвещение» в серии «Люди науки» вышла книга В. В. Одинцова о В. В. Виноградове.

Научные идеи В. В. Виноградова очень современные, активно живут в нашей филологической науке и развиваются его учениками и последователями. Они не перестают волновать всех, кому дорога русская речь, русское художественное слово, литература и культура.

В. П. ВОМПЕРСКИЙ,
доктор филологических наук,

П. И. ТОЛСТОЙ,
доктор филологических наук

Рисунок В. Леонова

А. А. ШАХМАТОВ
И
В. В. ВИНОГРАДОВ



В Ленинградском отделении Архива АН СССР в фонде академика А. А. Шахматова хранятся документы, характеризующие самое начало деятельности Виктора Владимировича Виноградова. Расскажем о нескольких из них.

Впервые В. В. Виноградов обратился к А. А. Шахматову с письмом в конце 1917 или в январе 1918 года. Известно, что Алексей Александрович с большим вниманием относился к нуждам молодых, начинающих ученых и охотно содействовал их занятиям, снабжая академическими изданиями. Можно, например, отметить, что только в 1911 году С. П. Обнорскому по ходатайству А. А. Шахматова было выдано более 40 книг. В. В. Виноградов также нуждался в книгах; вот текст его письма А. А. Шахматову.

Многоуважаемый Алексей Александрович!

Очень прошу Вас походатайствовать перед Общим собранием Академии наук о бесплатной выдаче мне из Академической библиотеки некоторых книг, необходимых мне для занятий, как-то:

1. Словари Носовича, Подвысоцкого, Куликовского, Богораза, Смирнова и В. Волоцкого.
2. Исследования по русскому языку.
3. Памятники старославянского языка.
4. Кульбакин. К истории и диалектологии польского языка (сб. Отд. русского языка и словесности, т. LXXIII).
5. Соколовы Б. и Ю. Сказки и песни Белозерского края.
6. Шейн. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях.

7. Ягич. Служебные мишеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 г.

Остаюсь

глубоко уважающий Вас
Виктор Виноградов, стипендиат Историко-
филологического института

А. А. Шахматов отправил письмо В. В. Виноградова с положительной резолюцией на книжный склад Академии наук, и 21 января 1918 года Виктору Владимировичу были посланы все просимые им книги.

Дальнейшая научная деятельность В. В. Виноградова развивалась под непосредственным руководством А. А. Шахматова. В 1919 году, по предложению А. А. Шахматова и Н. М. Каринского, Виноградов был переведен стипендиатом в Петроградский университет. Благодарность к своему учителю Виктор Владимирович сохранил на всю жизнь.

Среди архивных документов наиболее интересны три письма В. В. Виноградова и характеристика научной деятельности Виктора Владимировича, написанная А. А. Шахматовым. В этих документах даты не указаны, но предположительно в двух можно их установить. В первом письме Виктора Владимировича речь идет об Отчете, который был датирован: «1919 г. Декабрь — 10» (опубликован в 1922 году). Очевидно, второе письмо написано тоже 10 декабря или несколькими днями позже. Третье письмо можно отнести к концу зимы или весне 1920 года. В нем упоминается Комиссия по улучшению быта ученых, созданная в середине января этого года.

Приведем три письма Виктора Владимировича.

Многоуважаемый Алексей Александрович!

Я знаю, что теперь дневные, светлые часы особенно дороги, тем более Вам. Поэтому не хочу лично беспокоить Вас. Передаю в переписанном и несколько исправленном виде свой Отчет, который Вы предложили мне напечатать в Академической типографии. Лишним — по сравнению с просмотренным Вами — является лишь то, что я говорю на стр. 12—16 о произношении *ѣ* в московских говорах XV — XVIII веков. Я очень хотел бы слышать Ваше мнение об этих страницах.

Глубоко преданный Вам Виктор Виноградов.

Многоуважаемый Алексей Александрович!

Возвращая договорные грамоты, еще раз приношу Вам глубокую благодарность за то, что Вы с такой готовностью предоста-

вили мне возможность воспользоваться ими для моей работы, Среди снимков — пропусков нет в договорных грамотах.

Многим обязанный Вам Виктор Виноградов.

Многоуважаемый Алексей Александрович!

Мне совестно затруднять новою просьбой Вас, которому я и так многим обязан. Комиссия по улучшению быта ученых требует от лиц, получающих вайки, представления к пятнице — *sigillum vitae* [автобиография] и рекомендации специалиста. За этой рекомендацией в данное время мне не к кому обратиться, кроме Вас. Если Вам кажется, что я хоть сколько-нибудь могу оправдать Вашу рекомендацию, очень прошу дать мне ее.

Глубоко преданный Вам Виктор Виноградов.

P. S. За ответом разрешите зайти завтра около часа пополудни.

В ответ на это, третье, письмо А. А. Шахматов и составил краткую характеристику научной деятельности В. В. Виноградова, представляющую большой интерес:

Виктор Влад[имирович] Виноград[ов] является одним из талантливых, -ейших учеников проф. Каринского. В последние два года я имею счастье и честь принимать участие в руководительстве его занятиями. Виноградов сосредоточился на изучении истории р[усского] языка. С редким прилеж[анием], но и редким успехом он изучает памятники языка. Печатных работ у него пока немного, в числе их исследование об обряде самосжигания некоторых наших раск[ольничьих] сект. Но в рукописи у Виноградова готова большая диссертация, посвященная истории звуков русского языка; кроме того, он готовит еще другую работу по истории нашего литер[атурного] языка. Он состоит преподавателем Археолог[ического] института и гимназии при бывшем Фил[ологическом] институте. Поддержанье Виноградова в наст[оящее] тяжелое время идет, смело скажу, навстречу интересам русской науки.

Председ[ательствующий] в Отд[елении] р[усского] языка и слов[есности] Рос[сийской] Ака[демии] наук.

Характеристика была написана, скорее всего, в конце зимы или весной 1920 года для представления в Петроградскую комиссию по улучшению быта ученых, основанную по инициативе М. Горького. Оригинал ее обнаружить не удалось (в Архиве АН СССР хранится черновик), но в Архиве Октябрьской революции в Ленинграде находится «удостоверение» (от 31 июля 1920 г.),

свидетельствующее о том, что летом 1920 года В. В. Виноградов получал «ученый паек». Из характеристики А. А. Шахматова видно, что В. В. Виноградов в конце 1919 — начале 1920 года преподавал в гимназии при «Филологическом институте», очевидно, при Историко-филологическом институте.

А. А. Шахматов называет первую незаконченную монографию Виктора Владимировича — «О самосожжении у раскольников-старообрядцев» (Рязань, 1917). Упоминает он и о «рукописи» магистерской диссертации, которая впоследствии была опубликована: «Исследования в области фонетики севернорусского наречия. Вып. 1. Очерки из истории звука ъ в севернорусском наречии». В этой работе Виноградов писал: «Особенно сильное влияние на характер моей работы оказал А. А. Шахматов как печатными трудами, так и личными беседами и разнообразной помощью, которую я находил у него».

Отметив, что В. В. Виноградов готовит «другую работу по истории нашего литер[атурного] языка», А. А. Шахматов впервые указал на поворот в научной деятельности своего ученика, перешедшего от традиционных фонетико-исторических исследований к главной проблеме его дальнейших исследований — изучению русского литературного языка, образовавшей, как известно, новое направление в филологической науке. А. А. Шахматов увидел зарождение новых интересов у В. В. Виноградова на основании предварительного знакомства с его статьями, вскоре после этого опубликованными: Гоголь и Достоевский (1921), Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос» (1921). Затем последовала серия широко известных работ В. В. Виноградова о стиле Ф. М. Достоевского, А. А. Ахматовой, протопопа Аввакума и др.

Интересно отметить, что работы о стиле Гоголя, вышедшие в 1921 году, сразу же были замечены в научном мире. Вот что записала 10 октября 1921 года в своем дневнике, хранящемся в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Е. П. Казанович, заведовавшая библиотекой Пушкинского Дома и принимавшая самое активное участие в его создании:

«Талантливый кружок словесников собрался в Зубовском институте [Государственном институте истории искусств]. Жирмунский их объединил, или это объединение идет из первоисточника — из Университетского семинария, — не знаю, но только делают они интересную и полезную для науки, хотя, может быть, и слишком узкую, по мнению некоторых старых ученых, работу, делают ее бодро, молодо, талантливо. Они применяют новые ученые методы, стремятся поставить словесность на новый путь, отчасти указанный Веселовским, и научиться у них есть чему.

Есть среди них и совсем оригинальные дарования, как Виктор Шкловский, маленький гений; есть и более обычные, как сам Жирмунский; есть и не вполне еще выяснившиеся — как Виноградов. Последний открывает своими этюдами о Гоголе новую страницу в изучении этого крупного, причудливого художника. До сих пор так тщательно изучался в русской словесной науке только Пушкин в кругу многочисленных уже в наши дни пушкинистов; Виноградовым начнется, вероятно, плеяда гоголианцев; во всяком случае после работ Виноградова изучение Гоголя не может продолжаться по-прежнему».

Приведенные материалы живо свидетельствуют о рано проявившемся таланте В. В. Виноградова, обширности его познаний и научных интересов. Они показывают его тесную связь с выдающимся ученым старшего поколения — академиком А. А. Шахматовым, а также со своими сверстниками, открывшими вместе с ним новое направление в развитии советской филологии и на протяжении ряда десятилетий поддерживавшими ее мировой престиж многочисленными и ценнейшими трудами.

М. А. РОБИНСОН,
кандидат исторических наук

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Какие звуки обозначаются буквой *щ* — [ш'ч'] или [ш']?»

*Члены кружка «В мире слов» средней школы № 24,
г. Ровно*

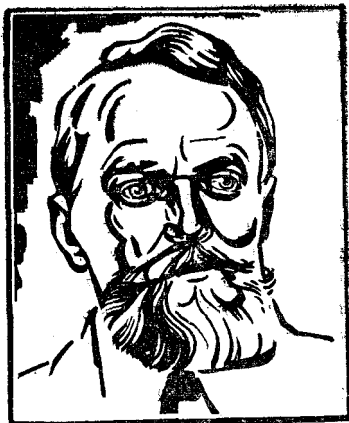
Буква *щ* передает звук [ш']. Следует произносить [ш']ука, ро[ш']а, ве[ш']и, ко[ш']унство, сму[ш']ать, по[ш']ади. Так произносили этот согласный в литературном русском языке и в начале XX века. Однако еще недавно под влиянием ленинградского произношения в литературном языке допускался также звук [ш'ч'] на месте *щ*, то есть считалось правильным произношение [ш'ч']ука, ве[ш'ч']и, ко[ш'ч']унство. Теперь же нормированным признается звук [ш'].

■

«Правильно ли было написано на этикетке купленного нами изделия — *простынь*?»

Семья Агаповых, Тула

Неправильно. Литературная форма — *простыня*.



Александр
Иванович
ПОПОВ
1899—1973

Известный ученый Александр Иванович Попов написал ряд книг и большое количество статей по истории лексики русского языка, финно-угорской филологии, тюркологии, топонимике. Случалось, что его иногда именовали доктором филологических наук, хотя он был доктором исторических наук, а также кандидатом физико-математических (по математике кандидатская степень была ему присвоена без защиты, по совокупности опубликованных работ, нашедших признание не только у нас, но и за рубежом).

А. И. Попов по разносторонности научных интересов (от теории относительности до топонимии русского Северо-Запада) представлял тип ученого-энциклопедиста, что нечасто встречается в наш век научной специализации. Кроме того, Александр Иванович обладал поэтическим даром, и в его архиве хранится немало стихов лирико-философского содержания, о существовании которых мало знали даже его близкие. В них он предстает как романтик, и этот настрой души он пронес через всю жизнь. Вот строфа одного из его стихотворений 20-х годов:

Есть люди странные, загадочно-тревожные,
Как звезд падающих неостывший след,
И с ними кажется возможным невозможное,
На неизвестное рождается ответ.

Александр Иванович Попов родился в Петербурге в 1899 году в семье горного инженера. Обучался в реальном училище и на физико-математическом факультете Петроградского университета. В годы гражданской войны служил в Красной Армии. В 20-х годах учительствовал в средних школах (преподавал физику, математику).

ку, гуманитарные дисциплины), а также вел и научную работу. С 1930 года Александр Иванович преподавал математику в технических вузах и в Ленинградском университете, где раскрылся его блестящий лекторский талант.

В годы блокады А. И. Попов чудом остался в живых и в тяжелом состоянии был эвакуирован в Сыктывкар. Там он принял на себя заведование кафедрой математики педагогического института, а затем переехал в Саратов, где в это время находился Ленинградский университет. Здесь Александр Иванович читал лекции по истории русского Севера, Новгорода, народов Поволжья, по исторической географии. Вопросами истории и языков народов СССР, в частности этногенезом, топонимикой, древнейшими языковыми связями, он увлекался со школьной скамьи, а выступать с самостоятельными работами стал с 1929 года.

Возвратившись в Ленинград в 1944 году, А. И. Попов защитил кандидатскую диссертацию «Исследования по исторической географии и топонимике Восточной Европы» (1945), а через три года — докторскую — «Из истории финно-угорских народностей СССР», и ему была присвоена степень доктора исторических наук. Используя данные русских летописей, писцовых книг и других старинных документов, А. И. Попов дал этимологический анализ большого числа финно-угорских элементов в топонимике русского Севера.

А. И. Попов принимал активное участие в работе кафедры финно-угорской филологии Ленинградского университета: читал лекции по этнографии, истории финно-угорских народов, сравнительному языкознанию. Позднее Александр Иванович возглавил эту кафедру и был утвержден в звании профессора. В 1955 году Финно-угорское общество (Хельсинки) избрало А. И. Попова членом-корреспондентом.

В 1956—1969 годах ученый работал на философском факультете ЛГУ, где читал лекции по высшей математике и математической логике. Для философов и преподавателей логики он пишет книгу «Введение в математическую логику» (1959), в которой знакомит читателей с основными понятиями и направлениями математической логики, а также с главнейшими линиями ее исторического развития. В аннотации к книге сказано, что «работа проф. А. И. Попова является первой советской книгой, в которой дается общий очерк математической логики». Книга была переведена на венгерский и болгарский языки.

Несколько ранее выходит книга «Из истории лексики языков Восточной Европы» (1957), в которой А. И. Попов принципиально отвергает чистое языковое сопоставительство: «В руках старой науки сравнительно-исторический метод был слишком „сравнитель-

ный" — часто с очень малой долей историзма. Однако правильно понять явления языка, и в особенности всё относящееся к области лексики, можно только в том случае, если язык изучается в тесной связи с историей народа — носителя этого языка. Соответственно и факты языкового взаимодействия необходимо рассматривать с учетом исторических взаимосвязей между народами». В этой книге ученый ищет новые пути этимологизации многих русских слов (*пескарь, брюква, пурга, разгильдяй* и др.).

Прекрасное знание летописей и других памятников древнерусской письменности, севернорусских диалектов, финно-угорской и тюркской лексики позволило Александру Ивановичу прокомментировать некоторые темные места в «Слове о полку Игореве», в летописях, в новгородских берестяных грамотах.

*

Разносторонность научных знаний А. И. Попова в области истории, лингвистики, географии, археологии, этнографии в наибольшей степени проявила себя в такой сложной и тонкой области исследований, как топонимика. Известный советский ученый-топонимист и географ Э. М. Мурзаев в «Рассказах об ученых и путешественниках» (1979) назвал А. И. Попова выдающимся советским топонимистом, оставившим глубокий след в науке. А. И. Попов был одним из основателей и руководителей комиссии топонимики Географического общества СССР в Ленинграде. Читателям журнала «Русская речь» известны статьи Александра Ивановича в рубрике «На карте Родины» (статьи о географических названиях *Арзамас, Арск, Торонец, Великие Луки, Ветлуга, Лача* и т. д.), а также о словах *Русь, Россия, славяне, татары, монголы*.

Главным требованием в топонимических исследованиях А. И. Попов считал соблюдение исторического подхода при анализе того или иного названия, учет географических, этнографических и археологических сведений. Обоснованию этого положения он посвятил книгу «Географические названия» (1965) — первое в советской научной литературе обобщенное изложение основ топонимических исследований. В ней рассмотрены основные пути и приемы изучения географических названий и даны многочисленные примеры такого изучения (*Десна, Керженец, Переславль, Трубеж, Вуюкси* и др.). Эта исследовательская линия продолжена им в книге «Следы времен минувших» (1981) — своде исследований по топонимике русского Северо-Запада (Ленинградская, Псковская, Новгородская области). Книга не только увлекательно рассказывает о происхождении многих топонимов, связанных с русской историей

(Ильмень, Селигер, Волхов, Нева, Псков, Боровичи, Новгород, Луга, Гатчина, Колпино и др.), но и содержит «Советы начинающим топонимистам по сбору и обработке топонимического материала».

Работы А. И. Попова всегда носили новаторский характер: как правило, он разрабатывал те проблемы, которых никто еще не касался, или находил новое решение, новый взгляд на предмет исследования. Такова и его предпоследняя (1973) книга «Названия народов СССР» — первая попытка дать общедоступное изложение основных приемов историко-языкового изучения этнических имен (родовых, племенных, народных, национальных названий).

В книге рассмотрено происхождение названий многих исчезнувших народов, некогда населявших территорию нашей страны (киммерийцы, скифы, сарматы, хазары, ливы, печенеги, половцы, иберы и др.), древнерусских племен (дулебы, кривичи и др.) и современных народностей (карелы, марийцы, удмурты, коми, манси, ханты и др.). Проанализированный материал позволил автору научно определить основные пути возникновения и изменения этнических названий.

Историк и математик, археолог, географ и лингвист, поэт и гражданин, он прожил большую жизнь в науке, никогда не поступаясь своими убеждениями, которые защищал открыто, страстно, нелицеприятно. Его ум математика не мирился с домыслами, бездоказательностью.

Александр Иванович любил людей, был приветливым, веселым, остроумным и в то же время — строгим, а подчас и жестким оппонентом в научных спорах. Он оставил о себе хорошую память у всех, кто его знал.

Н. В. ФОРТИНСКАЯ,

кандидат филологических наук

Ленинград

Рисунок В. Толстоногова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Нужно ли склонять слово *тысяча* в датах, например: в 1968 году?»

Е. К. Радченко, Днепрпетровск

При обозначении даты слово *тысяча* не склоняется. Следует говорить: *в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году*, то есть склоняется лишь последнее числительное.

В. И. ДАЛЬ над корректурами Толкового словаря



ПОМОЩНИК ДАЛЯ В «МОЛОТЬБЕ»

В «Толковом словаре живого великорусского языка», выходявшем в Москве отдельными выпусками в 1863—1866 годах, около двух с половиной тысяч страниц.

Держа (как тогда выражались) авторскую корректуру четырех объемистых томов, Даль прощупывал глазами каждую букву, каждый знак препинания — и не один и не два раза, а, как сообщает автор книги «Даль» (1971) В. И. Порудоминский, *четыренадцать* раз, устраняя многочисленные типографские ошибки и собственные случайные огрехи. Общий счет «обработанных» таким образом страниц исчислялся десятками тысяч!

Сколько же сил отдал Даль этой изнурительной, но крайне необходимой работе (ведь в словаре не должно быть ошибок)! Работе, которую, как мы увидим, он сравнивал с *молотьбой*.

Молотить, по определению Далева словаря, означает «колотить плашмя, с плеча, с маху; выбивать зерно из колоса».

Какое же из этих действий имел он в виду, сравнивая свое чтение корректуры с молотьбой? Вероятно, не только «выбивание» ошибок из текста, но и тяжесть самого труда. Чтение корректур сгоняло с него семь потов, как с крестьянина молотба на гумне.

«Держание» корректур такого издания, как большой толковый словарь, — работа сложная и ответственная. Перепоручить ее другому Даль не мог, да и не в его это было характере. Но, оказывается, Даль имел сведущего и старательного помощника, читавшего

в Петербурге параллельно с ним корректуру по другому экземпляру. Помощник этот — престарелый литератор и языковед, человек незавидной судьбы, рассматривал свою работу над Словарем Даля как счастливое событие, придававшее смысл его жизни, очищавшее ее, примирявшее с нею.

Московский знакомый Даля, историк М. П. Погодин, как-то заметил в одной из своих статей, что русские люди должны были бы помянуть добрым словом человека (который в общем-то не заслуживает особого уважения, как глухо намекает Погодин) — «старика Греча», перечитывающего «внимательно, с замечаниями», «несмотря на свой осьмой десяток», все листы корректуры, посылаемые ему в Петербург (Московские ведомости, 1863, № 156). Это публичное выражение благодарности в распространенной газете, без сомнения, появилось по просьбе Даля. («Благодарность — формулирует он в своем Словаре, — чувство признательности, желание воздать кому за одолжение, услугу, благодеяние; самое исполнение этого на деле»). Надо сказать, что сам Погодин отнюдь не отличался особой деликатностью в этом отношении и своих собственных помощников старался обычно держать в тени.

Николай Иванович Греч (1787—1867) в истории русской литературы и лингвистики занимал довольно заметное место. Плодовитый публицист, фельетонист, романист, описатель путешествий, историк литературы, издатель, автор грамматик, он приобрел известность еще в первые десятилетия XIX века. Его «Практическая русская грамматика» (1827), за которую он был избран корреспондентом Петербургской Академии наук, и «Начальные правила русской грамматики» неоднократно переиздавались — следовательно, покупались и изучались.

В молодости Греч считался весьма свободомыслящим человеком, либералом. Он был тесно связан со многими прогрессивными людьми своего времени, на него не без опаски поглядывали зубы консерватизма и реакции, но тотчас же после разгрома декабристского движения Греч поспешил переметнуться в ряды ревностнейших защитников самодержавного строя и стал, по словам Н. А. Добролюбова, «поборником лжи и мрака». Многолетнее и тесное сотрудничество с отвратительным порождением эпохи Николая I, литератором-«сикофантом» (доносчиком и шпионом) Фаддеем Булгаршиным и совместное издание с ним монархической и мракобесной газетки «Северная пчела», гонительницы передовой литературы и общественной мысли, навсегда заклеили Греча позорнейшей печатью и вконец подорвали его репутацию. Его художественные, или, вернее, псевдохудожественные произведения и публицистика к середине 1850-х годов полностью «вышли в тираж» и потеряли всякое значение. Устарели его «грамматические» труды.

Только мемуары Греча — «Записки о моей жизни», — написанные более честным пером, без всяких карьеристских побуждений, сохранили для читателей немалый познавательный интерес и переизданы были в советское время.

О Грече я напоминаю читателям вот по какой причине. Недавно в одном из московских книгохранилищ — Государственной Исторической библиотеке (Отдел Редкой книги) — я обнаружил два больших переплетенных тома разрозненных корректурных листов первого издания Далева словаря. На корешке одного из них золотыми буквами вытиснено: «Словарь Даля. Правка Н. И. Греча». Корректуры в этом томе испещрены исправлениями, пометками и ремарками, сделанными Гречем красными чернилами.

Изучение правки Греча показывает, что он не ограничился вылавливанием и исправлением так называемых «глазных» ошибок (термин, распространенный среди корректоров): то и дело на полях встречаются развернутые замечания, обращенные к Далею, попытки оспорить некоторые его формулировки, смысловые поправки и пр.

Вот несколько его надписей на первых листах корректуры:

Слову *апельсин* Даль приписал немецкое происхождение. Греч пометил на полях: «Слово голландское: *appelsina*». В печатном тексте Словаря читаем: *апельсин — гланд*;

Слово *вино* Даль определил так: «Растительная жидкость, перешедшая третью степень брожения (...) и получившая через это пьяное свойство». Греч меняет *через это* на *от этого*. Даль, разумеется, принимает необходимое исправление.

В определении слова *вечерница* у Даля дано выражение: «Поют круговые песни с поцалуям». Греч возмущенно пишет на полях: «Н. В. [нотабене (от лат. *nota bene* «заметь хорошо») — пометка в каком-либо тексте около места, требующего особого внимания. — Л. Л.] Ради бога, не цалуйтесь. Цалуются только палачи, аки Иуда, изменники и предатели». Даль с готовностью переделывает в наборе *а* на *е*.

К определениям, связанным со словом *битва*, Греч посоветовал прибавить *баталия*. Даль ввел этот термин в Словарь.

Многими предложениями Греча автор Словаря, однако, не воспользовался: с некоторыми из них он не был согласен, от других отказался, по-видимому, не желая «ломать» набор и вызывать неизбежные при этом новые ошибки.

Так, слово *выжемки*, переделанное Гречем на *выжимки*, Даль оставляет в прежнем виде.

В выражении *сходный с устрицею* он оставляет *сходный*, хотя Греч убеждает его: «*Сходный* не то, что *схожий*: сходная цена и схожий портрет».

Пример *бить монету*, предложенный Гречем, он не включает в гнездо *бить*.

К «приставным частицам», «привескам» в «гнезде» *ат, от, эт* Греч сделал на полях примечание своими красными чернилами: «*Ат, от* полагается после согласных букв, а *та, то* после гласных». Даль, учитывая, видимо, привычное народное произношение, тут же опровергает его: «Нет: баба-ат, мужик-то».

В томе корректур, на корешке которого вытиснено «Правка Н. И. Греча», мною обнаружен интересный и, по-видимому, до сих пор не изданный документ: собственноручная заметка Даля, свидетельствующая о том, что, не ограничиваясь печатным признанием заслуг Греча на страницах «Московских ведомостей», он решил закрепить и иным образом выражение своей благодарности. Вот полный текст этого обращения Даля:

«От начала словаря, с 1861-го года, и поныне (1865, янв(арь)) Николай Иванович Греч держал правку всех листов 280 и продолжает, *желая умереть за этой работой*, как сам он написал; прилагаю здесь другую записку его, из которой видно, что ему уже 78-й год. Ему посылался первый оттиск по сверстке, почему опечаток и недосмотров много; в пять, шесть правок, кои между тем делались мною (кои прилагаю образчики, чтобы видеть можно было молотьбу мою), весьма многое выправлялось; не менее того, не было ни одного листа, выправленного им, где бы не нашлось поправок, мною упущенных, или заметок, кои пошли в дело. Может быть, кто-нибудь со временем взглянет на кипу эту и помянет добрым словом этого почтенного деятеля.

В. Даль

Москва».

Из последних слов можно сделать вывод, что корректуры переплетены были не Далем, а московской Чертковской библиотекой, куда Даль, вероятно, передал эти «кипы» корректур на вечное хранение (на первых страницах каждого тома оттиск печати Чертковской библиотеки).

Ниже к оборотной стороне титульного листа приклеена записка Греча, адресованная Далю:

«3-го августа пошел мне 78-й год. Очень чувствую, хоть, слава богу, кой-как живу. Слабость одолевает, но глаза, желудок и грудь хороши. Только ноги отказываются. Услышите, что меня не стало, помяните добром, *что спит спокойно!*

Вам душой преданный

Н. Греч

С.-П(етер)бург
7 авг(уста) 1864»

Греч желал умереть за корректурами Далева словаря, словно солдат на редуте. Но его ждало большее счастье — дожить до выхода в свет последнего выпуска последнего, четвертого, тома. Греч скончался в январе 1867 года, через несколько месяцев после этого события.

В. И. ДАЛЬ В СРАЖЕНИИ С ТИПОГРАФИЕЙ

Выход в свет «Толкового словаря» можно, без всякого преувеличения, назвать одним из крупнейших событий культурной жизни России 1860-х годов.

Первое издание этого уникального труда набиралось и печаталось в Москве — вначале у «типографщика» А. И. Семена; затем, недовольный качеством набора и печати, Даль перевел свое издание в типографию Лазаревского Института восточных языков.

«Над Далевым словарем, — сообщает автор упоминавшейся превосходной биографии Даля В. И. Порудоминский, — типографским наборщикам пришлось изрядно потрудиться: много непривычных слов в тексте, часто приходилось менять шрифты. — Даль просил для наглядности главное слово в словарном гнезде набирать прописными буквами, производные слова — жирным курсивом (искосью), толкования слов — прямым светлым шрифтом, примеры — светлым курсивом; на протяжении нескольких строк шрифт иной раз менялся четыре-пять раз».

Понятие «труд» в Словаре Даля определяется так: «Все, что требует усилий, старанья и заботы». Эта формулировка подкреплена поговорками: *Человек рожден на труд и Без труда нет добра*. Так можно сформулировать и основы жизненной философии Даля.

В типографии Лазаревского института Дालю слова пришлось столкнуться с чудовищной небрежностью и недобросовестностью. Самоотверженный труженик, истинный подвижник, Даль с возмущением относился к работе спустя рукава, и это нередко приводило, как мы увидим, к затяжным конфликтам с корректорами и арендатором типографии.

Особенное негодование вызвала у Даля нерадивость сводчиков (*сводкой*, — читаем мы в Словаре, — называется «в печатном деле: сличенье выправленного набора с подписанным листом, для печати начисто»). Сводчики «Лазаревки» нередко подписывали листы в печать без предварительной сверки с предыдущей корректурой и с экземпляром Даля, то есть не учитывая его поправок и дополнений. Таким образом, в печать могли попасть уже выявленные Далем ошибки, что порой сводило на нет его филигранную работу над корректурами. О его неуступчивой борьбе за точность

набора и честное отношение к труду выразительно говорят замечания на полях второго переплетенного тома корректур:

«Эта корректура по моим поправкам не выправлена, стало быть не для чего мне было и править; вперед стану обращать [то есть возвращать.— Л. Л.], не читая, всякий невыправленный лист. Разве мне по десяти раз править одно и то же?»

«N. В. У вас Я (египетс(кое) и косое с ударением) везде выходит из строки; вероятно, ошибка в отливке? Это надо исправить, а то конца не будет».

«Все поправки, означенные красным, правятся вторично».

«Надеюсь, вы дадите мне последнюю корректуру *чистую*, вполне выправленную — *иначе подписать ее нельзя*. Да обратите внимание на буквы с удареньями: они б(ольшей) ч(астью) не в строке; и это надо поправить, а то придется доставлять из-за того лишние корректуры, больше хлопот и вам и мне!»

«На последней странице опять две ошибки не выправлены; разве я обязан держать сводку? Какой же этому будет конец? Не говорил ли я, до начатия работы, до условия, что по этой самой причине я вынужден был оставить прежнюю типографию?»

«N. В. Эта точка также вновь выкинута!»

«N. В. Эти две ошибки были мною исправлены, а здесь остались».

«Тут опять-таки — даже после сегодняшней беседы — два места выправлены ошибочно. Какой же у нас этому конец будет?»

«N. В. Это ошибка новая, ее не было; когда же мы эдак покончим? Для чего выкинули запятую?»

«N. В. Это не выправлено, и новая ошибка!»

«Надеюсь, вы дадите мне теперь оттиск чистый и выправленный, *весь, всюду*, а не кой-где и кой-как, и внимательно продержите сводку; если же я буду получать невыправленные оттиски, то не только не смогу подписать, но и читать не стану».

«Во-первых, не выправлено против моей правки; во-вторых, местами строки сбиты плотно, слово от слова не отставлено; желаю знать, в какой порядочной типографии так набирают? Даю слово, что вперед, усмотрев то или другое, не стану править, а просто возвращаю».

«Опять по-старому пошло! Это прибавлено от себя, у меня нет, а никто не читал выправки».

«N. В. Прошу покорно прислать два оттиска, отсылаемые в Питер, на тонкой бумаге — эта очень толста (т. е. вперед, не этот лист)».

«Опять не читают сводки!.. Эта выправка пропущена; вы непременно хотите свалить сводку на меня, а за это отвечает всякая порядочная типография, это не мое дело!»

«Местами слепо и грязно печатаете, нельзя править. Прежде этого не было, зачем стали портить?»

«Местами слепо печатаете, нельзя различить букв, я уже писал это много раз, а лучше нет; неужто вы хотите, чтоб обращал [т. е. возвращал.— Л. Л.], не читая? а ведь больше нечего делать!»

«N. В. Прилагаю старую корректуру, в доказательство, что тут поставлен с в. и — *после* просмотра моего, и записываю за шутку эту *один рубль*».

«N. В. Местами слепо, ведь я должен видеть каждую букву и запятую; плохо печатаете».

«Дайте чистый и четкий оттиск, того подписать нельзя, слепо и не видать точек и запятых».

«N. В. Прилагаю и здесь мою выправку, для улики, что никто не читает сводки. Это обязанность типографии. Это будет *седьмой* вычет».

«N. В. Это было трижды подчеркнуто, английск(им)и *две строки*».

«N. В. Недостает. А перенесете с того столбца, так и достанет!»

«Ни точек, ни запятых, ни переносных знаков; почему я знаю, есть ли они или выскочили?»

«Опять ни точек, ни запятых! Не стыдно вам, что не бросите такого оттиска?»


«N. В. Прилагаю рукопись, чтобы вы видели, что вы сами напутали и перебили строки. Не правьте по рукописи порядок статей».

«Вот один из тех промахов, на которые я уже жаловался: коли не входит, то наборщик выкидывает из середины букву! Да разве это можно делать? Ведь эдак за вами не усмотришь!»

*

Старые корректурные листы, подобно магнитофонной ленте, сохранили и воспроизвели для нас негодующие реплики Даля, воскресили его живые интонации, его характерную лексику. Перед нами ожило несколько эпизодов из его продолжительной борьбы со стихией нерадивости и равнодушия при рождении на свет бессмертного Словаря...

Л. Р. ЛАНСКИЙ,
кандидат филологических наук



Русский язык

в трудах

С. О. КАРЦЕВСКОГО

Русский лингвист и педагог Сергей Осипович Карцевский (1884—1955) сыграл большую роль в развитии теории общего языкознания и структурной лингвистики. Он родился 28 августа 1884 года в Тобольске. С 1903 года был учителем начальных классов. Затем служил в городской библиотеке Нижнего Новгорода (ныне г. Горький) и сотрудничал в ряде журналов. В 1906 году за участие в революционной деятельности (распространение нелегальной литературы) Карцевский был арестован и осужден. Через год, после выхода из тюрьмы, он уехал в Швейцарию. Окончив Женевский университет, стал ревностным приверженцем научных концепций Ф. де Соссюра (1857—1913).

В марте 1917 года (после Февральской революции) Карцевский возвратился на родину и был первым языковедом, ознакомившим молодых русских лингвистов на заседаниях Диалектологической комиссии АН в Москве с «Курсом общей лингвистики» и идеями Ф. де Соссюра. На протяжении двух лет С. О. Карцевский читал лингвистические курсы в Екатеринославе (ныне г. Днепрпетровск).

Затем ученый работал в различных европейских научных центрах, принимал деятельное участие в трудах Пражского лингвистического кружка и особенно Женевского лингвистического общества.

Много сил прилагал С. О. Карцевский для распространения русского языка за пределами Советского Союза. Он создал несколько учебников русского языка, редактировал в течение шести лет журнал «Русская школа за рубежом», выходивший в Праге. Его важнейшие научные труды основываются на русском языковом материале.

С начала двадцатых годов С. О. Карцевский работал над докторской диссертацией «Система русского глагола. Опыт синхронной лингвистики», писал брошюры, рецензии на языковедческие труды. В его работе «Язык, война и революция» (1923) зафиксированы новые слова и осмыслены изменения в лексике русского языка революционной эпохи, показана также тенденция к увеличению количества сложносокращенных слов.

С. О. Карцевский выступил в защиту орфографической реформы, осуществленной в Советской России. В редактируемом им журнале «Русская школа за рубежом» в статье «Новая орфография» он писал: «Миллионы детей и миллионы простых людей, которым нет возможности тратить годы на усвоение хитроумных написаний, не связанные привычкой, смогут с меньшими усилиями приобщиться к русской и мировой культуре».

Содержательную рецензию в 1927 году опубликовал С. О. Карцевский на «Синтаксис русского языка» (вып. 1) А. А. Шахматова. Ценным было утверждение, что Шахматов не противопоставляет в должной степени предикативные и атрибутивные отношения. Анализируя высказывания *Зеленая трава — свежая* и *Зеленая — трава свежая*, С. О. Карцевский отмечает, что «интонация есть только показатель различной внутренней природы отношений, а не причина».

Интересны замечания о существе предикативности и безличности. По справедливому мнению Карцевского, безличность в русском языке существует не потому, что имеются глаголы типа *смеркаться*, а потому, что путем «сдвига формальных значений» можно превратить личный оборот в безличный: *Солнце сожгло траву; Я не могу спать* можно переделать в *Солнцем сожгло траву; Мне не спится*. Благодаря этому сами безличные глаголы «приобретают свою грамматическую безличность».

Большой педагогический опыт и выводы из диссертации «Система русского глагола» С. О. Карцевский использовал в критической статье «Еще к вопросу об учебниках А. М. Пешковского» (Родной язык и литература в трудовой школе, 1928, № 1). Сам Пешковский признавал, что более содержательного анализа своих учебников по русскому языку, чем у Карцевского, он не получал.

В 1925 году С. О. Карцевский осуществил краткое изложение основ грамматики русского языка в книге «Русский язык. Ч. 1. Грамматика», изданной в Праге. В более расширенном виде его концепция была изложена в «Повторительном курсе русского языка» (М., 1928), в котором он хотел раскрыть «в наиболее простой форме логико-психологический механизм языка». Карцевский писал: «Это как бы элементарное введение в науку о языке, построенное исключительно на явлениях родного языка, или, если угодно,

это описание нашей речи, сделанное с лингвистической точки зрения».

Наиболее показательным в этом курсе являлось применение учения Ф. де Соссюра о синтагме к русскому языку. Синтагмой С. О. Карцевский обозначает всякую «комбинацию определяемого и определяющего»: это производные слова типа *медвеж-енок* «детеныш медведя», *водовоз* «возящий воду»; целые фразы как ряды синтагм. Так, фраза «Маленький мальчик читает большую книгу» состоит из четырех синтагм: *маленький мальчик*, *мальчик читает*, *читает книгу*, *большую книгу*. По мнению С. О. Карцевского, синтагматическое сочетание слов является внешней синтагмой по отношению к внутренней синтагме, заключенной в слове. Внешние синтагмы бывают трех типов: 1) определительные: *маленький мальчик*; 2) дополнительные: *написать письмо*; 3) обстоятельственные: *хорошо погулял* — это непредикативные синтагмы.

Важнейшая роль в языке принадлежит предикативным синтагмам, в которых определяющее отнесено к определяемому благодаря вмешательству говорящего лица (*мальчик читает* и *читающий мальчик*). «Синтагма, в которой имеется предикат или его инфинитивный эквивалент, называется предложением».

К несинтагматическим отношениям ученый относит сочинение, подчинение и впесение, которые выражают равноценность, неравноценность и разнородность частей. Карцевский был убежден, что синтагматический анализ парных сочетаний играет большую роль при обучении языку: «Наблюдение над „сказками“ ведет к установлению пар слов (по-нашему, „внешних синтагм“); например, сказ *Таня очень любила чтение* разбивается на: *Таня любила, очень любила, любила чтение*. Подобного рода упражнения должны вестись все время, пока не будет дано понятие о согласовании, управлении и примыкании, и парность словосцеплений не войдет в синтаксическую перспективу» (Еще к вопросу об учебниках Пешковского). Подобный подход к существу синтагматического анализа был поддержан некоторыми советскими лингвистами, найдя отражение и в учебной литературе: в книге А. А. Реформатского «Введение в языковедение» (изд. 4-е. М., 1967).

Теоретическим проблемам знакового характера языка посвящена новаторская статья С. О. Карцевского «Об асимметричном дуализме лингвистического знака» (см.: Вопросы языкознания, 1957, № 4). Здесь ученый касается взаимоотношений омонимии и синонимии в системе языка. «Знак и значение не покрывают друг друга полностью,— писал он.— Их границы не совпадают во всех точках: один и тот же знак имеет несколько функций, одно и то же значение выражается несколькими знаками. Всякий знак является потенциально „омонимом“ и „синонимом“ одновременно...»

(см.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков... Ч. II, М., 1965). Так, окончание *-а* имеет разное значение в формах *стола* (род. пад. ед. ч.), *жена* (им. пад. ед. ч.), *паруса* (им. пад. мн. ч.), и, напротив, одно и то же значение может выражаться разными знаками — окончаниями: *столы*, *паруса*, *крестьяне*. В первом случае мы имеем дело с омонимией, во втором — с синонимией. Каждый знак одновременно принадлежит и к синонимическому, и к омонимическому ряду: *столы*, *паруса* и *столы*, *жены*. Омонимия и синонимия отражают двойственность (дуализм) языкового знака.

Важен вывод Карцевского: каждый лингвистический знак в конкретной ситуации, в которой сосуществуют и старое, уже известное, и еще неизвестное, новое, может оказываться одновременно и устойчивым, стабильным, и подвижным, изменчивым. Карцевский показал характер языкового знака в лексике и морфологии. В последующем он стремился сделать это и на материале русского синтаксиса.

С. О. Карцевский предполагал создать структурную грамматику русского языка. Отдельные фрагменты задуманного исследования посвящены проблемам морфологии, системе частей речи и характеристике их состава, синтаксису простого и сложного предложения. В ряде работ он выясняет соотношение в структуре языка лексического, морфологического, синтаксического и фонологического уровней. Велик вклад Карцевского в изучение русских существительных, глаголов и наречий.

Обратившись в 40-е годы к проблемам сложной фразы, ученый выдвинул собственную теорию соотношения сочинения, подчинения и бессоюзия. Он отрицал соотносительность сочинения и подчинения, признавая соотносительность подчинения и бессоюзия. В связи с этим он и строит классификацию сочинительных, подчинительных и бессоюзных предложений (см.: С. О. Карцевский. Бессоюзие и подчинение в русском языке.— Вопросы языкознания, 1961, № 2). Изучение различных типов предложений С. О. Карцевский всегда осуществлял также с учетом интонации.

Творческий путь С. О. Карцевского свидетельствует о горячей любви его к родному языку. Кроме учебных пособий, написанных по-русски, он издал несколько учебников русского языка на французском. В теоретическом плане для Карцевского все отчетливее выступала недостаточность исходных положений Женеvской школы. Эти недостатки он стремился преодолеть развитием собственных теоретических выводов, опираясь на достижения русских языковедов, прежде всего Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, Л. В. Щербы и А. М. Пешковского.

Н. А. КОНДРАШОВ,
доктор филологических наук



ПОНЯТЬ И БЫТЬ ПОНЯТЫМ

Мы всегда неравнодушны к восприятию родного языка теми, для кого наш язык — иностранный, не родной. Особенно, если люди с упорством, а главное, с любовью изучают его с детских лет. Около 300 юных русистов из 44 стран мира приехали на V Международную Олимпиаду школьников по русскому языку минувшим летом в Москву. Они завоевали право участвовать в самом ответственном экзамене на знание русского языка в целых состязаниях у себя на родине. Сначала — конкурс в школе, потом отборочные соревнования в городе, и, наконец, победа на национальных олимпиадах, устраивать которые стало доброй традицией во многих странах мира.

Десять дней, с 21 июня по 1 июля, продолжались соревнования. Десять дней опытные преподаватели оценивали взволнованные ответы юношей и девушек, столь непохожих друг на друга, но единых в своих мыслях и чувствах: «Русский язык помогает людям мира понять друг друга».

Об этом говорят сочинения участников Олимпиады.

Хэсус дэ Ла Пас Пэрэс, Куба:

Сегодня русский язык не только язык межнационального общения народов Советского Союза.

Это язык сотрудничества народов мира во многих областях жизни. Русский язык является языком международных съездов и конференций, одним из официальных языков ООН, СЭВ и других международных организаций.

В наши дни русский язык пришел и в Латинскую Америку. Вот блестящий пример — советско-кубинский космический полет. В этом историческом полете гражданин Кубы, сын Латинской Америки, говорил на русском языке.

Среди участников из 44 стран мира на Олимпиаду приехали ребята из Перу, Никарагуа и Эквадора, где они делают первые шаги в изучении русского языка в школах,

Русский язык позволяет нам, латиноамериканским школьникам, узнавать новые и новые факты из истории Советской страны, из жизни выдающихся деятелей Советского государства. Учить русский язык — это значит изучать творчество Пушкина, Лермонтова, Маяковского, знакомиться в оригинале с учением великого вождя Владимира Ильича Ленина.

Назарова Яна, НРБ:

Болгарский и русский языки — родные братья, плечом к плечу идущие через века в будущее.

Мое первое соприкосновение с русским языком произошло в раннем детстве. Я слышала мягкие, красивые слова другого языка, которые, с одной стороны, были незнакомы мне, а с другой — властно напоминали о чем-то родном и близком, затаенном в крови предков. Наверное, тогда уже возник во мне первый, почти инстинктивный интерес к русскому языку. Может быть, он и привел меня в школу с преподаванием ряда предметов на русском языке. Я стала изучать язык такой родной и любимый, язык Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Чехова, язык Ленина, язык всего советского народа. Как-то незаметно он овладел мною, и я стала его счастливой пленницей навсегда.

Было действительно прекрасно проникать в богатую и необъятную русскую душевность. И чем больше я погружалась в глубины русского языка, тем сильнее проникалась какой-то чуждой любовью ко всему русскому.

Росик Эникё, ВНР:

Русский язык является прекрасным и выразительным языком. Знание его дало мне возможность читать шедевры русской и советской литературы в оригинале. Изучение русского языка пробудило во мне интерес к истории, обычаям и традициям русского народа.

В дни Олимпиады я убедилась, что русский язык может познакомить меня с представителями самых разных наций.

Интерес к русскому языку перерастает в увлеченность, увлеченность — в стремление связать с ним свое будущее.

Делиль Сюзанна, ГДР:

Язык — это важнейшее средство общения между людьми, это как бы мост, объединяющий их... Язык тебе дарит душу народа. Что это такое? В понятие «душа народа» входят и материальная,

и духовная жизнь народа — его история, традиции, его настоящая жизнь, обычаи и нравы, отношения между людьми, их мечты и чаяния, думы и переживания... Язык — это ключ к сердцу народа. Для меня таким ключом стал русский язык. Знать его — большое счастье. Повесть «Материнское поле» Ч. Айтматова и рассказ «Судьба человека» М. Шолохова потрясли меня до глубины души и заставили еще больше полюбить русский язык. Когда читаешь эти произведения, перед взором встают обыкновенные советские люди, говорящие на простом, но очень образном языке, которые совершают подвиги и не считают себя героями.

Как приятно сказать: «Спасибо. Мне переводчик не нужен!»

Благодаря моему русскому языку я, встречаясь с русскими людьми, чувствую себя среди них, как среди близких и дорогих людей, с которыми можно всегда поговорить по душам. Ведь знание языка делает возможным не только понять человека, но и настроиться на одну волну с ним, быть понятым.

Роберт Андерсон, США:

Культура — это сердце народа. Именно культура отличает одну страну от другой. Но как возможно понять культуру страны без языка? Нельзя. Чтобы понять душу страны, то есть то, что люди думают, что они чувствуют, надо обязательно владеть языком этой страны.

Культура Советской страны уникальна. Большой театр, великолепные музеи, прекрасные здания известны всему миру. Но красота не только в зданиях и музеях, она в самом народе.

Русские люди очень добрые, но как поймешь это, если не сможешь поговорить с ними. Язык — это инструмент, ключ к пониманию народа и его культуры.

Лаура Вилла, Италия:

Русский язык и русскую культуру лучше всего изучать с помощью русских и советских песен.

Вместе с преподавателем мы на каждом уроке разговариваем и поем песни.

Так весело мы учим русский язык уже три года. Особенно нам нравятся народные песни в исполнении Людмилы Зыкиной. Благодаря ей мы услышали голос русского народа.

Мы знаем много русских песен, и поэтому мы были интересны для ребят из других стран, с которыми нас подружила русская песня.

Любор Кралик, ЧССР:

Темперамент народа находит свое отражение в национальной культуре. Для того, чтобы понять его, надо прежде всего изучать язык и литературу народа.

Огромную роль здесь играет устное народное творчество и произведения, отражающие жизнь народа.

Благодаря русским былинам я сумел себе представить жизнь Киевской Руси, романы русских реалистов показали мне Россию XIX века. Я понял многое, но уверен, что я понял бы еще больше, если бы прочел все эти произведения в подлиннике...

Словаки говорят: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек».

Магнус Вейлструп, Дания:

Язык — голос народа. Когда я говорю по-русски, когда я читаю русскую литературу, я всегда чувствую великую историю и чудесную культуру России и Советского Союза.

Катарина Гонзиор, ФРГ:

По-моему, язык — это мостик, который соединяет народы мира. Важно то, что я могу участникам нашей Олимпиады что-то рассказать о себе, о моей стране, о людях нашей страны. Они же поделятся со мной своими мыслями и мечтами. Так мы лучше можем узнать и понять друг друга.

Если бы все люди мира думали так., не было бы слышно взрывов гранат, не было бы слез матерей, жен и детей. А были бы повсюду веселые дети... Дети, которые весело поют песню нашей Олимпиады «Пусть всегда будет солнце!»

Деснис Катя, Франция:

Я очень люблю русский язык, потому что этот язык очень музыкальный, он красиво звучит. Русская и советская литература прекрасна! Людям, которые знают язык друг друга, легче бороться против войны за свободу, мир и взаимопонимание.

*Выдержки из сочинений участников
V Олимпиады собрал
В. В. ДРОНОВ*



ВЧИТЫВАЯСЬ В «СЛОВО»

Почти два века продолжается изучение выдающегося памятника нашей древней литературы «Слова о полку Игореве». За это время сложилась целая отрасль науки — слововедение, объединившая в себе ученых разных специальностей. Общими усилиями сделано очень много в реконструкции текста памятника, дошедшего до нас, как известно, со значительными искажениями, в исследовании секретов поэтики произведения, в уточнении фактической основы описанных в нем событий. Вместе с тем в процессе изучения «Слова» по отдельным проблемам сделаны выводы, нуждающиеся в пересмотре или уточнении на основе добытых наукой новых данных.

«ПОИСКАТИ ГРАДА ТЬМУТОРОКАНЯ, А ЛЮБО ИСПИТИ ШЕЛОМОМЬ ДОНУ»

В новейших пособиях, адресованных учителю и массовому читателю, цель похода Игоря Святославича определяется так: Игорь ставит себе безумно смелую задачу — с непогими собственными силами «поискать» старую черниговскую Тьмуторокань, когда-то подвластную его деду Олегу Святославичу («Гориславичу»); он ре-

шается дойти до берегов Черного моря, уже почти сто лет закрытого для Руси половцами; а Тьмуторокань отождествляют с современной Таманью (см. об этом: Добродомов И. Г. Тьмуторокань и Тамань.— Русская речь, 1973, № 5).

В последние три десятилетия советские историки пришли к выводу, что поход северских князей в 1185 году был по своему характеру военным набегом и что основные события происходили вблизи от рубежей Русской земли. Игорь не мог ставить перед собой задачу выйти к Тьмуторокани и берегам Черного моря, так как она была в то время неосуществима. Небольшое русское войско в составе 6—8 тысяч человек не смогло бы преодолеть путь от Новгорода-Северского до Тамани, в полторы тысячи километров. Да и сам Игорь совершенно определенно говорит, что цель его похода — Дон: «Хощу, — рече, — коние приломити конец поля Половецкаго, с вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону». Все события в «Слове» привязаны к Дону, который является своего рода центром изображенного в произведении географического пространства. В настоящее время считается установленным, что Дон в представлении автора «Слова» — это современная река Северский Донец.

О Тьмуторокани и Черном море ничего не говорится и в летописных рассказах о походе. В Ипатьевской летописи, довольно подробно описывающей события, названы только Донец, Оскол, Сальница, Сюурлий, Каяла, Тор и безымянное озеро-море. В Лаврентьевской летописи фигурирует только Дон и то не как место действия, а как заветная мечта воодушевленных первой удачей русских князей. Победив половцев, рассказывает летописец, князья решили: «А ноне поидем по них за Дон и до конца изобьем их, оже ны будет ту победа, идем по них у луку моря, а де же не ходили ни деди наши, а возмем до конца свою славу и честь». Как установлено исследователями, в этой летописи допущено много неточностей, обстоятельства похода освещаются очень приблизительно и истолковываются в негативном по отношению к Игорю духе. Недоброжелательно относясь к Игорю, стремясь передать авантюризм замыслов князей, летописец все-таки не говорит о Тьмуторокани, а ограничивается *Доном и лукой моря*.

Откуда все-таки взялась Тьмуторокань?

О Тьмуторокани как цели похода говорят в «Слове» киевские бояре, разгадывая «мутен сон» князя Святослава: «Се бо два сокола слетеста с отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь Дону». Эти слова — своего рода догадка, предположение, поэтому они не могут быть основанием для заключения о цели похода. Кроме того, приведенное высказывание содержит смысловое противоречие. Одно дело, когда Игорь говорит,

что хочет «главу свою приложить, а любо испити шеломомь Дону», то есть либо голову сложить, либо дойти до Дона, а другое — «поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь Дону»: попытаться завоевать Тьмуторокань или дойти до Дона. Две цели, о которых говорят бояре, не исключают одна другую: если будет взята Тьмуторокань, то и Дона войско достигнет, ибо эта река ближе и миновать ее невозможно.

«Поискати Тьмутороканя» в данном случае — обычная гипербола, с помощью которой подчеркивается честолюбие и самонадеянность молодых князей.

«СОЛНЦЕ ЕМУ ТЬМОЮ ПУТЬ ЗАСТУПАШЕ»

Как известно, во время похода Игоря произошло солнечное затмение. Это необычное явление природы, считавшееся в древности «знамением божьим», нашло отражение и в «Слове о полку Игореве», и в летописных рассказах о походе. Все без исключения исследователи «Слова», комментируя это событие, ссылаются на выводы астронома Н. В. Степанова, опубликованные в 1908 году, который установил, что оно происходило 1 мая 1185 года в 3 часа 25 минут. Процесс затмения солнца длится около двух часов, поэтому точным временем в часах и минутах принято обозначать его максимальную фазу, то есть тот момент, когда тень Земли максимально закрывает Солнце. Итак, в соответствии с расчетами Н. В. Степанова, затмение произошло днем. Однако при внимательном чтении Ипатьевской летописи бросается в глаза одно странное обстоятельство: в ней сказано, что затмение было в вечернее время. «Идущим же им к Дону реку в год вечернии, — сообщает летописец, — Игорь же, возрев на небо, и виде солнце стояще яко месяц». Что такое «год вечернии»?

В летописях и других древних памятниках время часто определяется по церковным службам — утрени, обедни, вечерни, которые проходили повсеместно в одни и те же часы. Подтверждением того, что в данном случае «год вечернии» означает время вечерней службы, являются данные Новгородской летописи, в которой перед словом «вечернии» стоит слово «пещиа» (в некоторых вариантах «в звонение»). Когда же правилась вечерняя служба на Руси в XII веке? Специалисты по истории православной церкви сообщили, что время этой службы: летом в 6 часов вечера, зимой в 5. Напрашивается вывод, что время затмения определено Н. В. Степановым неправильно. Изучение специальной астрономической литературы подтвердило это предположение. Оказалось, что еще в 1915 году русские ученые Д. О. Святский и М. А. Вильев доказали, что Н. В. Степанов пользовался слишком грубой методикой, поэтому его расчеты ошибочны. М. А. Виль-

ев проделал огромную работу по вычислению 283 солнечных затмений, наблюдавшихся на Руси с 1060 по 1715 год. В его труде «Канон русских затмений» дан расчет времени солнечных затмений и составлены карты, изображающие течение затмений на территории Руси. Имеющиеся в нем таблицы позволяют определить фазу максимального затмения для любой точки Европейской части России. Уникальный труд русского астронома получил признание советской астрономической науки и считается наиболее точным справочником по истории солнечных затмений на территории нашей страны. Согласно этим данным, момент наибольшей фазы затмения в верховье Северского Донца был не в 3 часа 25 минут, а в 4 часа 55 минут.

В отдельных научных трудах, художественных переводах «Слова» и иллюстрациях к нему неправильно изображается характер солнечного затмения. Известно, что на территории Северной земли и в местах, по которым протекал Донец, затмение 1185 года наблюдалось как частное, то есть тень Земли не полностью закрывала диск Солнца. Полоса полного затмения проходила, согласно расчетам М. А. Вильева, к северу от линии Новгород — Вологда — Ярославль, захватывала южную Финляндию, современный Ленинград и другие северные города. В Ипатьевской летописи затмение описано кратко, но весьма точно: «Солнце стояще яко мсяць». Действительно, Солнце, частично прикрытое тенью Земли, напоминало месяц. А вот в Лаврентьевской летописи паряду с многими выразительными деталями, дополняющими картину затмения, есть одна очень существенная неточность: «В середу на вечерни бысть знаменье в солнцѣ и морочно бысть велми, яко и звезды видети, человеком в очю яко зелено бяше, и в солнцѣ учинися яко мсяц, из рог его яко угль жаров исхожаше». В этом красочном описании вызывает сомнение следующая деталь: «яко и звезды видети». На Донце, где был Игорь, звезд пельзя было видеть, так как они являются на небе только при полном солнечном затмении. Высказывалось предположение, что это описание летописец мог позаимствовать из Новгородской летописи, в которой есть упоминание о звездах, так как затмение там было полным.

Некоторые поэты ошибочные сведения Лаврентьевской летописи перенесли в свои переводы «Слова». К сожалению, эту ошибку допустил и А. Н. Майков, перевод которого считается одним из лучших:

У Донца был Игорь, только видит —
Словно тьмой полки его прикрыты,
И воззрел на светлое он солнце,
Видит: солнце — что двурогий месяц,

А в рогах был словно уголь горящий;
В темном небе звезды просияли.

В многочисленных иллюстрациях к «Слову», в том числе и в известной картине Н. К. Рериха «Поход Игоря», диск солнца изображается полностью затемненным, окруженным звездами, что не соответствует характеру затмения 1185 года. Хотя поэты и художники имеют право на творческий вымысел, однако нельзя в одной картине рисовать взаимоисключающие явления природы: если солнце изображается, как месяц, (т. е. при неполном затмении), то вокруг него не должно быть звезд.

«С ЗАРАНИЯ В ПЯТОК»

В литературе о «Слове» неточно определяется время не только солнечного затмения, но и некоторых других событий. Обратимся к первой битве дружин Игоря с половцами. Напомним обстоятельства этого этапа похода, как о нем повествуется в «Слове» и в Ипатьевской летописи.

Автор «Слова» взволнованно рассказывает о том, как русские воины, вступив в пределы Половецкой степи, мысленно прощаются с родной землей: «О Русская земле! Уже за шеломянем еси!» Яркими красками рисует он картину ночного марша, тревожное ожидание встречи с неприятелем: «Долго ночь меркнет. Заря свет запала. Мгла поля покрыла. Щекот славий успе; говор галичь убуди. Русичи великая поля черлеными щиты перегородища, ищущи себе чти, а князю славы». В отличие от «Слова», в котором ночной поход и битва изображены обобщенно, без конкретных деталей, в летописи приведено много фактических сведений и интересных подробностей. В ней сказано, что от реки Оскол войско направилось к Сальнице, которая протекала, как явствует из дальнейшего описания, в непосредственной близости от половецких владений. Здесь, на Сальнице, к Игорю вернулись заранее посланные им разведчики, которые сообщили, что неприятель бдительно охраняет свою территорию, поэтому время для нападения неподходящее. Игорь обсудил с князьями положение и решил ехать «через ночь», то есть этой же ночью. На следующий день утром — 10 мая в пятницу — русские дружины встретили половецкие войска. Произошла битва, которая и закончилась победой русских.

Важно отметить, что факт ночного марша засвидетельствован обоими памятниками, его можно считать достоверным. Сведения о времени встречи с кочевниками также полностью совпадают. В «Слове» сказано: «С зарания в пяток потопташа поганья полкы половецкыя». В летописи то же самое: «Заутра же, пятку наставшу, во обеднее веромя усретоша полкы половецкые». Далее летописец сообщает, что половцы свои вежи (телеги) отравили в тыл,

а сами, собравшись от мала до велика, «стояхуть на оной стороне реки Сюурлия».

Итак, битва с половцами произошла утром в пятницу на реке Сюурлий. В летописи время встречи с неприятелем уточняется с помощью слов «во обеднее веремья». Большинство исследователей полагает, что эти слова означают «во время обеда», не замечая того, что такое толкование противоречит смыслу слов «с зарания в пяток, заутра же». Получается бессмыслица: рано утром во время обеда. К. В. Кудряшов, например, пишет: «От Сальницы до Сюурлия русские шли всю ночь и следующее утро почти до полудня». В другой его работе даже указано время обеда: «На другой день, в пятницу, в «обеднее» время, то есть около одиннадцати часов, русские «усретоша» полки половецкие, стоявшие на другом берегу реки Сюурлия». Аналогичной точки зрения придерживается и В. Г. Федоров: «Форсированный марш дружины (Игоря) продолжали, очевидно, в течение части 9 мая, ночи с 9 на 10 мая и примерно до полудня 10 мая». Б. А. Рыбаков, приведя сведения о длительности дня и ночи, приходит к выводу, что ночной марш войск длится 6 часов, а на дневную часть пути приходилось еще около 8 часов. Правда, он допускает, что встреча могла состояться и утром.

Мы уже указывали, что в древности на Руси время исчислялось по церковным службам. Случай с солнечным затмением убеждает, что слова «год вечернии» означают время вечерней церковной службы. Аналогичное явление мы имеем и здесь: «обеднее веремья» — это время обедни. С древних времен обедня или литургия проводились два раза в день до обеда. Первая называлась ранней, а вторая — поздней. Время ранней обедни — 6 часов, а поздней — 10. Какую же обедню имел в виду летописец: раннюю или позднюю? Вчитаемся в текст памятников: «С зарания в пяток», «заутра же, пятку наставшу». Согласно древнему обычаю, люди на Руси вставали очень рано (вспомним наставление Владимира Мономаха: «да не застанет вас солище на постели»), поэтому 10 часов в те времена не могли считаться ранним утром. Очевидно, следует принять время ранней литургии — 6 часов и в соответствии с ним производить необходимые вычисления.

Это уточнение имеет важное значение для поисков реки Сюурлий и места битвы. Если русское войско встретилось с половцами в 6 часов утра, то расстояние от реки Сальницы до Сюурлия не может превышать пути, пройденного войском за короткую майскую ночь.

М. Ф. ГЕТМАНЕЦ,

доктор филологических наук

Харьков

Рисунок В. Леонова



По материалам славянских переводов
«Слова о полку Игореве»

В «Слове о полку Игореве» еще много загадок, и одна из них — див. Это некое существо, потому что, как сказано в «Слове», оно «кличет», т. е. кричит. Упоминается див в произведении дважды: один раз «кличет връху древа», второй раз — «уже връжесе див на землю». Первые издатели — А. И. Мусин-Пушкин и его помощники — считали, что это птица, и птица злобная — филин. Они так и перевели: «кричит филин на вершине дерева» («Процесная песнь о походе на половцев удельного князя Новгород-Северского Игоря Святославича. Москва, 1980 г.). Последующие исследователи — Мальсагов Д. Д., Шервинский С. В. — злобного филина «заменяли» удою. В своем утверждении С. В. Шервинский опирается именно на то, что див сидит *на вершине* дерева: «Хотя эта птица (удой) пребывает часто близко к земле, ради ловли насекомых, естествоиспытатели постоянно наблюдали удои сидящими именно *на вершинах* деревьев, что упомянуто и автором «Слова»: „кличет връху древа“» (Сб. «Слово о полку Игореве» памятник литературы и искусства XI—XII вв. М., 1978).

Однако большинство исследователей — Ф. И. Буслаев, М. Максимович, Вс. Ф. Миллер, Н. С. Тихонравов, А. Н. Веселовский, О. Огоновский, А. А. Потебня, В. Мансикка, Н. К. Гудзий, Д. С. Лихачев — полагают, что речь идет о злобном мифологическом существе. Это предположение опирается на перечень славянских божеств: «И словеньский язык (кланяется) вилам, и Мокошьи, Диве,

Перуну ... упираем, и берегыням, и Переплуту, и верьтячесья пьют ему в розех» (Памятники древн. церк. учит. лит. XIV в. Цитируется по Словарю-справочнику «Слова о полку Игореве», вып. 2, 1967). Видимо, такое толкование наиболее вероятно, потому что некоторые из перечисленных божеств славянской мифологии стали действующими лицами в фольклоре славянских народов: *упыри* (вампиры), *берегыни* (русалки) в русских сказках, *вилы* — в сербском, чешском и словацком фольклоре, а *див* — в сербских народных песнях.

Однако в данной статье нас интересует больше не кто таков этот див, а где он сидит, откуда «кличет» и «велит послушати земле незнаеме и Вльзе, и Поморию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тьмутороканский блъван». В литературе о «Слове» и во всех переводах на русский язык укоренилось значение «на вершине дерева». Такой перевод ни у кого сомнения не вызывал, разночтений тоже не возникало; более того — за русскими переводами такое понимание перешло и в другие славянские языки. Так, на западнославянские языки (чешский, словацкий, польский) «върху древа» переведено как «на вершине дерева». Но переводы на южнославянские языки (болгарский, сербскохорватский и словенский) отражают иное понимание: «на дереве». Вот, например, болгарский перевод (1863) Р. Жинзифова: «Бухал выкат над дърво» (*бухал* — филин, *над дърво* — на дереве); так же понимают «върху древа» авторы сербского и словенского перевода — «на дереве».

Выявить значение «върху» поможет словарь и другие памятники древнерусской литературы. Как видим из примеров, в южнославянских языках «верху» является предлогом, который обозначает направление и местонахождение со значениями «на» и «над». В современном болгарском языке это значение сохранилось: *върху масата* — на столе, *върху земята* — на земле (см. Болгарско-русский словарь, М., 1966). Близкое к этому значение сохранилось и в сербскохорватском языке: *на врху* — наверху, *врх* — предлог со значением «над»: *врх главе* — над головой (см. Сербско-хорватско-русский словарь, М., 1958).

Такое же значение у слова *вѣрх* — «на, над, поверх» встречается и в древнерусском языке. Например: «Птица же многообразны седяху върху их (ветвей), песнь поюштя сладку» (Изб. Святослава. Цит. по Словарю-справочнику, вып. 1, слово «връху»). Если сочетание «връху древа» возможно перевести на современный язык — «на вершине дерева», то «върху ветвей» в нашем примере имеет значение — «на ветвях». Только таким образом можно понимать «върху» и в других примерах его употребления в древнерусской литературе, приведенных в Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве»: «Не может град укрытися връху горы стоя» (не может

укрыться город, на горе стоя). Перевод «на вершине» здесь тоже невозможен, потому что вершина — это «самая высокая часть чего-то», как определяет «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова. На наш взгляд, убедительно поддерживает это положение и следующий пример: «И видяше (Нифонт) в сне море велико зело, и стояша же посреде его стълп и върху его не бяше никого же» (и видел Нифонт во сне море очень широкое, а посреди него стоял столп, на котором никого не было). Немаловажно и соображение чисто грамматического характера: существительные *верх*, *вершина* должны употребляться с предлогом *на*: *на верху горы*, *на вершине*. Во всех рассмотренных случаях предлога *на* нет, следовательно, *върху* само становится предлогом со значением «на».

Наконец, сошлемся на словари. «Словарь Академии Российской» (1789), содержащий словарный состав русского языка XVIII века, показывает, что в русском языке еще в XVIII веке было существительное *верх* и предлог *верху*: «Верху. Предлог, сочиняемый с родительным падежом, и значащий: над, сверх, выше, поверх, на. *Возложиша вину верху главы его*».

Многие древние языковые формы сохранились в русских диалектах. Посмотрим «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля. Он также отмечает существительное *верх*, наречие *верху* (*орел парит верху*) и предлог с родительным падежом со значениями: над, сверх, сверху, поверх чего (*верху главы*, *верху дома* — над головой, над домом).

Точно так же в значении существительного и предлога могли употребляться в русском языке и другие слова: *под*, *край*, *конец*.

Итак, рассмотрев значения *върху* в древнерусском языке, приняв во внимание понимание этого слова южными славянами, обнаруженное в переводах «Слова о полку Игореве» на южнославянские языки, мы приходим к выводу, что «див кличет врѣху древа» следует переводить не «на вершине дерева», а просто «на дереве».

Какое это имеет значение для понимания «Слова»? Не все ли равно «на дереве» или «на вершине дерева»?

По нашему глубокому убеждению, все, что уточняет чтение и понимание такого памятника, как «Слово о полку Игореве», — очень важно. Проясняется стиль произведения, которому свойственны простота, лаконичность, необыкновенная экономия изобразительных средств.

Уточнив хотя бы один штрих в переводе великого памятника, еще острее ощущаешь его художественное совершенство.

Э. Я. ГРЕБНЕВА

Куйбышев

Рисунок С. Гавриловой



«Ярославна рано плачет в Путивле па забрале, аркучи: «О ветре, ветрило! Чему, господине, насильно веши?» ...

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему Ярославна, обращаясь к ветру, называет его *ветрилом*? Наверное, нет. Между тем употребление этого слова в памятнике заслуживает самого пристального внимания. Не случайно в многочисленных переводах «Слова о полку Игореве», в комментариях к памятнику, в исторических словарях русского языка оно поясняется по-разному. Обратимся к Словарю-справочнику «Слова о полку Игореве» (сост. В. Л. Виноградова; вып. 1. М.—Л., 1965) и убедимся в том, что *ветрило* встречается в памятнике всего один раз в значении «ветер». В других же произведениях древнерусской литературы оно обозначало только «парус» и в этом значении дожило до прошлого века. Вспомните пушкинские строки:

Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

В наши дни *ветрило* 4-х томным академическим «Словарем русского языка» (М., 1981) толкуется так же: традиционно-поэтическое в значении «парус». В качестве примера приводятся эти же пушкинские строки из стихотворения «Погасло дневное светило». В «Словаре-справочнике...» содержится пример из картотеки «Словаря современного русского литературного языка», иллюстрирующий употребление слова *ветрило* в значении «сильный, порыви-

стый ветер»: «Ну и ветрило! С ног валит» (смол., иск.). В «Словаре русского языка XI—XVII вв.» указываются такие значения слова *ветрило*, как «ветер», «паруса», «вид опахала», «флюгер», «мельница (ветряная)», однако последние три значения появляются только в XVI—XVII веках. Нейтральное значение «ветер» и здесь отмечено только в «Слове о полку Игореве».

Переводчиков памятника столь недифференцированное истолкование удовлетворить не могло; чтобы не разрушить целостного восприятия одного из самых поэтических мест произведения, пужно было найти эквивалент, точно передающий древнерусское слово в смысловом и эмоциональном отношении. О том, насколько трудной оказалась эта задача для многих, говорит тот факт, что в большинстве переводов «Слова...» — как на современный русский, так и на другие языки — *ветрилу* соответствует обычное *ветер*. Чаше же всего древнерусское слово остается без перевода: «Ветр-Ветрило!» (А. Майков); «О ветер, ветрило!» (Д. С. Лихачев. См. также переводы К. Бальмонта, И. Новикова, В. И. Стеллецкого, Р. Якобсона и др.; пер. на укр. М. Рыльского). Встречая в тексте такое сочетание, современный читатель неизбежно воспринимает архаичное по форме слово *ветрило* в известном ему из современного русского языка значении «сильный ветер». В правильности подобной догадки его могут утвердить, например, комментарии В. И. Стеллецкого к изданию «Слова...» в серии «Сокровища древнерусской литературы» (М., 1981). Правда, можно встретить и более осторожное толкование, предложенное О. В. Твороговым и Л. А. Дмитриевым: *ветрило* — разговорное, бытовое название ветра (см. издание памятника в большой серии «Библиотека поэта», Л., 1967). Однако подобное объяснение имеет слишком общий характер, чтобы повлиять на наше восприятие приведенных строк из плача Ярославны.

Современное значение «ветер» придают древнерусскому слову *ветрило* и те переводы, где в качестве определения к нему избираются традиционные прилагательные *буйный*, *сильный*, *могучий*, *неистовый*, соответствующие пониманию суффикса *ил(о)* как увеличительного: «О ветер, буйный ветер!» (В. Капнист); «О ветрила, ветры буйные!» (Ф. Глинка); «Для чего, о ветер сильный...» (Н. М. Карамзин); «О ветр, ветр могучий!» (М. Деларю, см. также переводы Н. Рыленкова, И. Козлова, С. Городецкого и др.); «Снова дует неистовый ветер...» (Л. Татьяничева) и другие. В пользу толкования суффикса *-ил(о)* как увеличительного помимо современного употребления можно было бы привести еще и представления о ветре в славянском фольклоре: в отличие, например, от легкого морского ветерка у древних греков холодный северо-восточный ветер у славян всегда мыслился как грозная и могучая сила,

И все же признать *ветрило* увеличительным производным к *ветер*, не модернизируя при этом текст, на наш взгляд, нельзя. Подобному пониманию противостоит весь поэтический строй плача Ярославны. Хорошо известно, что в нем гармонично сочетаются черты и лирической песни, и заклинания, и плача. Близость к устному народному творчеству сказалась, между прочим, в использовании богатейшей сокровищницы поэтических и образных средств фольклора. Одним из таких традиционных в лирике средств является использование уменьшительно-ласкательных производных: «Чему мычеши хиновьскыя стрелкы на своею нетрудною крлицю на моя лады вои?». Однако в обращениях подобные производные особенно типичны: «Ты взойди-ка, красно солнышко...»; «Ох ты гои еси, речинька, река быстра Смородинка!»; «Сторона ль моя, сторонушка!»; «Ты возмой-возмой, част-крупен дожик!» и т. п. Производные же с увеличительными, усилительными суффиксами по своей эмоциональной окраске резко диссонируют со строем лирического произведения, это ярко видно, если мы заменим ласкательный суффикс на увеличительный в одном из приведенных примеров: «Ты возмой-возгой, част-крупен дождина!». Или в плаче Ярославны: «О ветер, ветуице!». По приведенным соображениям нам представляются наиболее точными, а значит, удачными те редкие переводы анализируемого фрагмента плача Ярославны, в которых *ветрило* передано производными с ласкательным суффиксом или словосочетанием, соответствующим слову с ласкательной окраской: «О ветер! ветерочек!» (неизв. автор XVIII в.); «О вецер, вятрыска!» (пер. на белорусск. Я. Купалы), а также перевод на французский А. Грегуара. Неточное же понимание слова *ветрило* может привести не только к стилистическому диссонансу, но и к искажению смысла. Так, например, в переводе Н. Заболоцкого Ярославна обращается к ветру не с заклинанием-просьбой, а с суровым упреком: «Что ты, Ветер, злобно повеваешь?»

Чтобы более убедительно доказать именно уменьшительно-ласкательный характер суффикса *-ил(о)* в производном *ветрило*, обратимся к другим словам с тем же суффиксом. Так, в русских народных песнях изредка встречаются личные существительные типа *мужило*, *деверило*, на близость которых *ветрилу* обращал внимание А. И. Соболевский, а также — Ф. И. Буслаев. Чаще они осложнены новыми ласкательными суффиксами: «Родимой ты мой братилка!» (также *мужилушка*, *деверилушка* и др.). Отметим, что встречаются такие производные, как правило, в обращениях (ср.: «Нашла сестра своего брата...» Из собрания народных песен П. В. Киреевского). Известны слова с *-ил(о)* и в древнерусских текстах, особенно в различных надписях. Все они являются личными собственными именами, поэтому и не вошли в исторические сло-

вари русского языка. Образованы они от личных имен, как языческих, так и христианских (ср. отглагольные существительные с личным значением *светило*, *звонило*, *качало* и др.). Среди обладателей имен на *-ил(о)* мастер *Брътило*, изготовивший известный новгородский кубок XII века, писцы Евангелия 1164 года *Добрило* (ср. древнерусские имена *Добро*, *Добрыня*) и Евангелия 1232 года *Явило* (*Явид*, *Явдята*), митрополит *Станило*, упомянутый в летописи 1223 года (*Станимир*), псковичи XIII века *Жидило* и *Твердило* (*Жидята*, *Твердислав*), боярин XIII века *Петрило* Рыгач (*Петр*), рязанский боярин *Децило* (он же *Децильць*) и другие. Многие из них жили приблизительно в то же время, что и автор «Слова...»

Формы имени на *-ил(о)* известны не только славянам, но и другим индоевропейским народам. Так, мы знаем, что предполагаемого изобретателя готского алфавита звали *Вульфиллой* (*Wulfila* от *Wulfs* «волк»). Готские же материалы, зафиксированные в письменных памятниках почти за 500 лет до появления славянского алфавита, показывают, что первоначально имена с суффиксом *-ил(о)* употреблялись при обращении и имели ласкательный оттенок значения. А так как имя чаще всего используется в обращении, то такие формы стали восприниматься сначала как просто ласкательные, а затем — как бытовые, разговорные формы имени. Славянские, а точнее древнерусские надписи и отражают эту последнюю стадию. Аналогично собственным именам образовывались и нарицательные личные существительные, имевшие ласкательное значение. В русском языке такие существительные на *-ил(о)* не получили большого распространения и остались лишь в фольклоре и ономастике, то есть там, где дольше всего сохраняются архаичные словообразовательные модели.

Можно предположить, что в «Слове...» *ветрило* употребляется еще в своей первичной функции ласкательной формы обращения. Эмоциональная окраска этого слова верно передана лишь в отдельных малоизвестных переводах: на русский язык, белорусский и французский. К сожалению, ни в одном из распространенных в настоящее время переводов обращение Ярославны к ветру не нашло точной передачи,

А. В. ГОЛУБЕВА

Ленинград

Рисунок В. Комарова

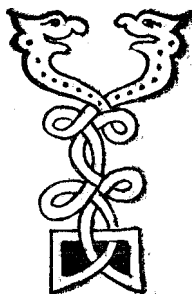
СИЯЕТ в веках бессмертное творение русского гения — «Слово о полку Игореве», повествующее о походе русского князя Игоря против половцев в апреле — мае 1185 года. Неудачный для Игоря поход дал автору «Слова» повод выступить с призывом единения Руси. Это, по словам К. Маркса, «призыв русских князей к единению как раз перед нашествием собственно монгольских полчищ» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 29, с. 16).

Каждое новое исследование, посвященное «Слову», вызывает неизменное внимание читателей. В этом плане книга биолога Г. В. Сумарукова «Кто есть кто в „Слове о полку Игореве“» (М., МГУ, 1983) не является исключением. На основании анализа «неестественного» поведения зверей и птиц, действующих в «Слове», Г. В. Сумаруков высказывает мнение о том, что автор «Слова» писал в этом случае не о животных, а о половецких ордах, названных по их родовым готемам — мифическим животным-предкам.

Птицы и звери в начале неудачного для Игоря похода вели себя действительно странно. Приведем отрывок из «Слова»: «А Игорь к Дону войско ведет. Уже беду его подстерегают птицы по дубравам, волки грозу накликают по оврагам, орлы клетотом зверей на кости зовут, лисицы брешут

ПОЛОВЕЦКИЕ «ТОТЕМЫ» И «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

◆
*Заметки
о прочитанном*



на червленые щиты... Долго ночь меркнет. Заря свет зажгла, туман поля покрыл, щеко́т соловьиный уснул, говор галочий пробудился» (в переводе Д. С. Лихачева по кн.: Изборник. М., 1969). В указанном отрывке действие происходит в середине мая, в период выведения животными потомства. В это время, как верно подчеркивает Г. В. Сумаруков, волки не собираются стаями и не воют. В мае, в гнездовой период, орлы почти не издают звуков. Лисцы никогда не лают на человека, как собаки. В середине мая в лесостепи соловьи поют почти круглые сутки, а не только на псходе ночи, умолкая на рассвете. В это время у галок в гнездах птенцы. Обычно шумные, в майскую пору галки молчаливы. Итак, поведение зверей и птиц в «Слове» противоречит их реальному биологическому поведению. В подтверждение своего вывода, Сумаруков указывает и на «неестественное поведение» животных во время побега Игоря из плена. Побег Игоря он относит на первую половину июня.

Говоря о побеге из плена, автор «Слова» пишет: «Тогда вороны не граяли, галки примолкли, сороки не стрекотали, только полозы ползали. Дятлы стуком путь к реке указывают, соловьи веселыми песнями рассвет возвещают». Если отнести побег Игоря к июню, то и здесь прав Г. В. Сумаруков. В самом деле, у галок, например, в начале июня период воспитания вылетающих из гнезд птенцов. Родители охраняют потомство от опасностей. И, конечно, при появлении людей (Игоря с Овлуром) галки-родители не молчали, а подняли бы громкий крик. Примеры можно продолжить. В то же время «действующие» животные в поэме представлены «рассудочно-проницательными существами» (например, орлы, «предвидя» жертвы будущей битвы, «клекотом зверей на кости зовут»). Как отмечает Г. В. Сумаруков, «такое понимание особенностей животных, разумеется, придает поэме черты сентиментализма. Между тем древнерусская литература этого стиля не знала: он возникнет в России лишь во второй половине XVIII в. Филологические и литературоведческие исследования со всей ясностью показывают, что древнерусская литература не знала пейзажа как такового, в частности пейзажа, включающего в себя животных». Таков ход рассуждения Г. В. Сумарукова. А так как древнерусская литература «не знала одухотворенных, разумных, эмоциональных пейзажных животных», то это и не животные действовали в поэме, а якобы «орды половцев, названные по их родовым тотемам».

Однако утверждение Г. В. Сумарукова, что древнерусская литература не знала пейзажа, опровергается самим «Словом», в котором есть слова (приуроченные к старым междоусобицам): «Тогда по Русской Земле редко пахари покрякивали, но часто ворошы граяли, трупы между собой деля, а галки по-своему говорили».

Что это, как не пейзаж, то есть описание вида местности с включением в это описание птиц.

Таким образом, «замена» животных половцами, произведенная Г. В. Сумаруковым, основана на сомнительном мнении, что древнерусская литература не знала «разумных» животных, что в «Слове» их быть не могло. Конечно, в «Слове» нет «спокойного» пейзажа. Природа здесь тесно связана с судьбой людей, оказывает на них влияние, проявляется в действии: в буре, в затмении солнца и т. д. Вообще «в древнерусских произведениях нет описаний бездействующей природы, служащей только фоном для повествования» (Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве. М., 1982). Наоборот, «она включена в самый ход повествования, в развитие сюжета», описывается ее влияние на человека. Природа «активна и в этой своей активности наделяется почти человеческими качествами... Между природой и человеком стираются границы. Образ Обиды — девы с лебедиными крыльями, образы языческих богов стоят где-то между природой и людьми. Люди постоянно сравниваются и с птицами и со зверями: с турами, соколами, галками, воронами, „лютым зверем“, кукушкой и т. д. и т. п. Игорь вступает в разговор с Донцом и получает от него помощь... Союз природы и человека, с такой силой развернутый в „Слове“, — союз поэтический» (Лихачев Д. С., указ. соч.).

Как видим, этой народно-поэтической основы «Слова» Г. В. Сумаруков не учитывает.

Отметим, что комментарии по поводу проявления природы (в том числе птиц и животных) в «Слове» дал в своих статьях зоогеограф Н. В. Шарлемань (напр., см.: Из реального комментария к «Слову о полку Игореве». — Труды отдела древнерусской литературы. М., 1948, т. VI). Н. В. Шарлемань указывает, что автор «Слова» — прекрасный знаток степной флоры и фауны, под пером которого реальные образы животного мира приобретают символический смысл. Вместе с тем в своей работе Н. В. Шарлемань дает объяснение отдельным мест «Слова» и, в частности, такой строки: «уже беду его (Игоря) подстерегают птицы по дубравам...» (Хищные птицы летели за войском, поджидая добычу. Войско Игоря двигалось медленнее птиц, которые останавливались на отдых в дубравах недалеко от него). Как видим, указанное объяснение не имеет ничего общего с предполагаемой Г. В. Сумаруковым ордой половцев — орлов или воронов.

Но, может быть, Г. В. Сумаруков заметил то, что никто до него в «Слове» не замечал? В самом деле, версия Г. В. Сумарукова заключается и в том, что побег Игоря из плена отнесен на начало лета. В этом случае поведение птиц, которых встретил Игорь, было бы верно. Это давало бы возможность полагать, что неестественное

поведение на самом деле относится не к птицам, а к половецким ордам под «птичьими» названиями. Данное предположение противоречит мнению крупного знатока русской литературы Н. К. Гудзия, отмечавшего, что Игорь бежал из плена осенью (см.: Большая Советская Энциклопедия, I изд.). Г. В. Сумаруков же относит побег Игоря на 31 мая 1185 года, что соответствует пребыванию князя в плену в течение 19 дней, с 12 мая.

Но вот что сообщает Ипатьевская летопись: во время битвы Игорь был ранен — «И тако божиимъ поущениемъ уязвиша Игоря в руку, и умертвиша шюицю его (т. е. лишили движения, «парализовали» левую руку). И бысть печаль велика въ полку его»; во время пребывания Игоря в плену ему была разрешена ястребиная охота; к нему также был доставлен священник из Руси «со святою службою».

В самом же «Слове» указано, что во время побега помчался Игорь, «избивая гусей и лебедей к завтраку, и к обеду, и к ужину», а также указано, что Игорь обратился к Донцу, «одевавшему его теплыми туманами под сенью зеленого дерева».

Из вышензложенного следует, что пребывание Игоря в плену не могло длиться только 19 дней, так как: 1) во время плена он охотился, что требует применения двух рук (а ранение в одну руку было серьезным, раз об этом счел нужным упомянуть летописец, и в каких словах!), 2) менее чем через месяц после ранения Игорь не мог бы «избивать» птиц к завтраку, и к обеду, и к ужину, 3) за столь короткое время (по Сумарукову уже к 26 мая) к Игорю не мог быть доставлен священник из Руси «со святой службою», то есть культовыми принадлежностями.

Д. С. Лихачев (указ. соч.) пишет: «Эпитет „теплый“ (о туманах) паблюдательно передает существенную деталь в бегстве Игоря: туманные ночи теплее ясных, и Донец во время почлегов Игоря как бы одевал его теплыми туманами, берег его». Ночной туман над рекой возникает тогда, когда воздух становится более холодным, чем раньше (при этом начинается конденсация водяных паров, то есть возникает туман). Это связано с более холодными ночами при наступлении осени (в ее пачале, так как туманы были «теплыми»).

Таким образом, многие факты говорят о том, что Игорь был в плену несколько месяцев. Вывод один: Игорь бежал не в начале июня, а значительно позже, осенью, как и полагал Н. К. Гудзий. Следовательно, мнение о «неестественном» поведении птиц во время побега Игоря получает дополнительное опровержение. Это, а также необоснованная попытка Г. В. Сумарукова зачеркнуть поэтическую символику «Слова» (в начале похода Игоря), приводит к тому, что вывод о существовании у половцев системы тотемов не

является доказанным. А ведь, по мнению Г. В. Сумарукова, в «Слове» (в зависимости от вида животного-предка) якобы описано одиннадцать (!) половецких орд: Волки, Орлы, Лисицы, Вороны, Полозы (змеи), Лебеди, Гуси, Галки, Сороки, Дятлы, Соловьи.

Тотемизм — одна из древнейших форм религии. Основная его черта — вера в общее происхождение и кровную близость между родовой группой и каким-либо животным, которое является тотемом. По его имени и обозначается вся родовая группа. Тотемизм отражает особенности первобытнообщинного строя. Половцы — тюркский народ, общественный строй которого находился в стадии перехода от первобытнообщинных к раннефеодальным отношениям. С учетом бытовавших первобытнообщинных отношений наличие у половцев тотемов возможно. Можно сослаться на «Повесть временных лет», в которой описывается эпизод из похода половецкого хана Боняка: желая узнать исход предстоявшего сражения, «Боняк отъехал от воинов и начал выть по волчьи, и волк отозвался ему, и начали волки выть многие». С. А. Плетнева комментирует этот отрывок так: «Связь Боняка, соединяющего функции хана и жреца, с тотемом и покровителем-волком несомненна» (Плетнева С. А. Половецкая земля. — В книге «Древнерусские княжества X—XIII вв.» М., 1975). Но даже предположение о бытовании тотема волка не может доказать существования, например, половцев-Орлов, якобы упоминаемых в «Слове». Доказывая существование половецкой орды Орлов, Г. В. Сумаруков связывает ее с рекой Орель и ее притоком Орелькой. Однако в этимологическом словаре русского языка М. Фасмера читаем: «Орель — левый приток Днепра в Днепропетровск. обл., др.-рус. *Ерель*, *егоже Русь зовуть Уголь* (Ипатьевск. летоп. под 1183 г.). Вероятно, из тюрк. **ärili* „косой, кривой“...». Как видим, река Орель имеет отношение не к слову *Орел*, а к слову *Угол*.

Другой пример: тотем Лебедь. Г. В. Сумаруков пишет: «Одно из названий половцев — кумане. Оно происходит от слова „кум“, что в переводе означает „лебедь“... Одним из тотемов половцев был лебедь». Казалось бы, ясно. Однако по-тюркски лебедь *kuğu*, а не *kum*. Тюркское *kum* означает «песок» (ср. песчаная пустыня Кара-кум). И. Г. Добродомов в реплике «Половцы и поле» (Русская речь, 1968, № 6) указывает, что «слово *половцы* образовано от прилагательного *половый* „желтый“ и представляет собой дословный перевод половецкого самоназвания *куман* „желтый“».

Столь же сомнительно приводимое Г. В. Сумаруковым мнение о связи «тотема Гусь» с именем половецкого хана Гзак (Гзы, Кзы, Козь). Имя Гзак якобы происходит от слова *каз*, что в переводе с тюркского означает «гусь» (автор ссылается на мнение И. Н. Березина). Мысль простая: если имя хана означало — Гусь, то, сле-

довательно, была половецкая орда Гусей. Но ведь на этом основании можно предположить, что русские фамилии Гусев, Лебедев, Соловьев происходят от мифических предков-тотемов: гусей, лебедей, соловьев. А это не так. Были люди с такими кличками. Например, известны Василий Константинович Гусь Добрынский, от него — Гусевы; Никита Яковлевич Лебедь Хвостов — от него Лебедевы (Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974). У каждых Лебедевых, Гусевых свои предки по прозвищу Лебедь, Гусь, названные так по какой-либо черте их характера или внешнего вида.

Может быть, у половцев и были отдельные тотемы (тотем волка — наиболее возможный). Но утверждение Г. В. Сумарукова о существовании развитой системы половецких тотемов, отраженных в «Слове», ошибочно.

Половцы — единый народ. Разделение их на Волков, Соловьев, Дятлов и т. д. ставит такое единство под сомнение. Правда, у половцев не было централизованного государства. Но вероятно, что среди половцев возникали отдельные территориально ограниченные племенные объединения. Они могли именоваться или по главной местности, или по главному племени (роду) объединения. Были также и условные наименования объединений, охватывающих большие подразделения половецкого народа. Так, арабский писатель Идриси (XII в.) называл Белую, Черную и Внешнюю Куманию [Добродомов И. Г. О половецких этнонимах в древнерусской литературе. — Тюркологический сборник 1975 (М., 1978)]. Как видим, такое подразделение ничего общего с тотемизмом не имеет.

Причины «открытия» Г. В. Сумаруковым якобы существовавших одиннадцати половецких тотемов лежат в отрицании символики «Слова»; в неправильном отпеснении времени побега Игоря к началу июня, что приводит к утверждению о «неестественном поведении» животных в это время; в неучете того, что «не следует воспринимать „Слово“ как научно точное описание русской природы и природы степи. Обобщая, автор „Слова“ мог слегка сдвинуть сроки тех или иных явлений животного и растительного мира, преувеличить (художественное преувеличение вообще типично для древнерусских произведений), выделить и подчеркнуть то, что ему нужно было в чисто художественных целях» (Д. С. Лихачев, указ. соч.); наконец, в неправильном утверждении того, что древнерусская литература не могла знать «одухотворенных, разумных» животных, что в «Слове» их быть не могло. Но скорее уж не мог гениальный автор «Слова» назвать *соловьем* и вещего Бояна и погапога (то есть язычника) половца (якобы из орды Соловьев). Это внесло бы путаницу в произведение, чего ни один автор не желает допустить.

Мнение Г. В. Сумарукова противоречит всей сумме знаний, накопленных при изучении «Слова». Оно противоречит выводам академика Д. С. Лихачева, выводам специалиста в области древнерусской литературы О. В. Творогова, отмечавшего, что «многие сцены „Слова“ имеют символический смысл, в том числе и такие, казалось бы, „натуралистические“ зарисовки, как рассказ о волках, воющих по оврагам, или птицах, перелетающих из дубравы в дубраву в ожидании поживы на поле битвы... „Слово“ эпично, а не документально, оно полно символики, оно и не может напоминать поэтому летописное повествование...» (История русской литературы. Л., 1980, т. I).

В. Н. МИРОТВОРЦЕВ

СРЕДИ КНИГ

СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА XVIII ВЕКА

В издательстве «Наука» вышел «Словарь русского языка XVIII века», подготовленный группой исторической лексикологии XVIII века (Институт русского языка АН СССР, Словарный сектор, Ленинград). Выход в свет первой книги (Выпуск 1, гл. редактор Ю. С. Сорокин) — знаменательное событие в научной и культурной жизни страны. Он восполнил собой недостающее звено в русской лексикографии: стал последовательным продолжением «Словаря русского языка XI—XVII вв.» и обеспечил необходимые языковые связи со «Словарем современного русского литературного языка» (в 17 томах).

По сравнению с шеститомным «Словарем Академии Российской» (1789—1794), первым академическим изданием, в котором была систематизирована лексика XVIII века, новый Словарь имеет свои достоинства.

Прежде всего, в нем значительно расширен словник (около 100 000 слов), причем особенно широко представлена лексика петровского времени. Это и понятно, так как издание задумано как толковый исторический словарь общего типа, представляющий собой описание русской лексики от начала Петровской эпохи до пушкинской поры, то есть до создания современного литературного языка на национальной основе. Значительно шире отражена в Словаре XVIII века лексика научных книг, деловых документов, публицистических и художественных произведений описываемого периода.

Чрезвычайно широк круг языковых источников: в качестве иллюстративного мате-

риала привлекаются сочинения выдающихся представителей культуры и литературы того времени (Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Дмитрий Туптало, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, Н. И. Новиков, Н. М. Карамзин и др.), дневниковые записи, народная речь, сказки, былины и т. д., словом — лексический материал, весьма различный по языку и нормам словоупотребления. Естественно поэтому, что Словарь не является нормативным. Более того, в противоположность правилам, принятым для нормативных словарей, в нем широко используются произведения переводные, что также диктуется временем, особенно Петровской эпохой, для которой характерна бурная переводческая деятельность, обилие в русской лексике иноязычных слов, новообразований, терминов.

Словарь XVIII века — издание широкого исторического профиля, в нем отражена не только жизнь слова, но и культурная жизнь народа на определенном этапе его развития. Вчитываясь в значения слов, знакомых и не знакомых, открываешь для себя удивительные страницы из истории языка и культуры русских людей XVIII столетия. Помимо ценного фактического материала, Словарь XVIII века удобен в пользовании: алфавитное расположение слов с элементами гнездования позволяет легко ориентироваться в статьях и получать исчерпывающую информацию.

Обратимся, например, к первой статье Словаря (с. 5—7), посвященной начальной букве русского и славянского алфавита — А, как нельзя лучше иллюстрирующей кропотливый

и взыскательный труд составителей. В ней на трех страницах убористого двухколонного текста приведены столь интересные сведения грамматического, исторического, литературного характера, что, пожалуй, для пополнения знаний на этот предмет не потребуется обращаться к другим источникам.

Не пересказывая подробно статью, отметим лишь, что она безупречна и с точки зрения графического исполнения: сведения помещены под соответствующими римскими и арабскими цифрами, основные характеристики выделены курсивом, помогают ориентироваться и соответствующие лексикографические знаки. В качестве иллюстративного материала привлечены: «Русская грамматика Михаила Ломоносова» (СПб., 1755), «Сочинения, письма и избранные переводы кн. Антиоха Дмитриевича Кантемира» (СПб., 1867—1868), сочинения Д. И. Фонвизина, А. Н. Радищева, «Апофегмата, то есть кратких, витиеватых и нравоучительных речей книги три. Перевед. с пол. на слав. яз.» (СПб., 1716), периодические издания того времени и многие другие.

Заканчивается первая книга Словаря словом *Беспристрастие*, которое в XVIII веке употреблялось в 2-х значениях — *неподверженность страстям, бесстрастие и отсутствие пристрастности, справедливость, объективность*.

Оценивая *беспристрастно* двадцатипятилетний труд составителей, мы будем абсолютно объективны и справедливы, если назовем Словарь XVIII века фундаментальной энциклопедией русского языка, ценным и плодотворным вкла-

дом в сокровищницу отечественной лексикологической и лексикографической науки.

Словарь необходим самому широкому кругу читателей: специалистам-филологам и пи-

сателям, студентам и школьникам — всем, кто интересуется языком и литературой этого времени.

И. Б. ЕСТЬКОВА

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Как надо говорить — *не шелохнется* или *не шелохнётся?*»

Р. И. Слуцкая, Одесса

Правильно — *не шелохнётся*.

■

«Что означает слово *мелкотравчатый?*»

Г. Е. Лапшин, Томск

Слово *мелкотравчатый* имело несколько значений: 1) так говорили о ткани, имеющей мелкие узоры в виде трав (*мелкотравчатый атлас*); 2) в охотничьем жаргоне *мелкотравчатым* назывался малосостоятельный охотник, державший небольшую свору собак; 3) *мелкотравчатым* называли человека незначительного, ничтожного, занимавшего невысокое общественное положение. В наши дни это слово имеет разговорный, пренебрежительный характер и употребляется в значении «мелкий, незначительный, ничтожный, низменный» (*мелкотравчатый человек*).

■

«Как правильно говорить — *сек*, *пресек* или *сёк*, *пресёк?*»

И. Т. Рудина, Бузульма

Произношение *сек*, *пресек* (от глаголов *сечь*, *пресечь*) словари русского литературного языка считают нормированным. Однако в живой разговорной речи действует закон аналогии. Большинство односложных глаголов с гласным *е* в корне в форме прошедшего времени в 3 лице ед. числа имеет гласный *ё*: *течь* — *тёк*, *лечь* — *лёг*, *печь* — *пёк* и т. п. В результате воздействия закона аналогии и появилось произношение *сёк*, *пресёк*, *пересёк*.

Уважаемая редакция!

Со станицей Цимлянской на Дону связана слава непревзойденных красных игристых вин. Хотелось бы дознаться происхождения названия станицы. В прошлом она коротко именовалась Цымля (так же, как и небольшой приток Дона, в устье которого станица располагалась). Все наши старания местными силами разгадать загадку пока не привели к положительным результатам. Очень надеюсь, что этому поможет уважаемая редакция «Русской речи».

А. И. Погапенко
Оренбурга



РЕКА с таким названием протекает по территории Ростовской области. Гидроним *Цымля* известен по «Книге Большому чертежу», составленной в 1627 году (сохранилась в списках 60-х годов XVII века и более поздних): «пала в Дон речка *Цымля*», «ниже *Цымлы*» (Книга Большому чертежу. М.—Л., 1950). Упоминание об этой реке содержится и в более поздних «походных журналах», которые велись во время азовских походов Петра I (1695—1696 гг.), а также и в других документах XVII века. Имя *Цымля* носил в XVII веке и находившийся в устье реки казачий городок (он же *Цимлянский городок*).

В отличие от многих других названий притоков Дона, гидроним *Цымля*, судя по известным нам источникам, почти не изменялся. Зафиксирована только одна, да и то редкая, его разновидность — *Цимля* (если не считать чисто орфографических вариантов — *Цымля* и *Цымля*, встречающихся в старых рукописях и изданиях). Обе формы — *Цымля* и *Цымля* — приводятся еще во второй половине XIX века во втором томе «Географическо-статистического словаря Российской империи», составленного П. П. Семеновым (СПб., 1863—1885). Последнюю из них мы находим также на «Карте владения войска Донского», приложенной к «Истории или Повествованию о

донских казаках...» А. Ригельмана (Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, М., 1846).

Постоянство и однообразие формы гидронима затрудняет объяснение его происхождения. Одно бесспорно: название это не славянское. Маловероятно сближение его с далеким севернорусским (в бассейне Печоры) гидронимом *Цильма* с ударением, однако, на первом слоге, что резко отличает его от гидронима Донского бассейна. М. Фасмер не вполне точно допускает в нем отражение местного географического термина *чильма* «моховое болото, топкий торфяник», а также, вероятно, ошибочно — *чолма* «залив», «болото, поросшее травой» (из саамского *tšoalme*; см.: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка). Важные уточнения в этимологию и значение географического термина *чильма* и связанных с ним топонимов дал в специальной статье А. К. Матвеев в сборнике «Этимологические исследования. Этимология русских диалектных слов» (Свердловск, 1978), но все эти уточнения показывают, что к донскому речному названию *Цимла́* северное *Цильма* никак не относится.

Исход гидронима *Цимла* (конечное *-ла*) наталкивает на предположение о его возможном тюркском происхождении. На русской почве такого рода исходы обычных слов и географических названий нередко появлялись в результате морфологического освоения тюркских названий, являющихся прилагательными. Тюркский суффикс *-лы*, ассоциировавшийся у славян с формами множественного числа, изменялся путем закономерной подмены конечного гласного *-ы* гласным *-а* в *-ла*. При этом название приобретало типичную для славянских речных названий форму женского рода. Древнейший пример: *Каяла* в «Слове о полку Игореве», развившаяся из тюркского топонимического прилагательного **Каялы*, означавшего «скалистая» (см.: Гетманец М. Ф. Каяла — скалистая река. — Русская речь, 1984, № 4).

На нижнем Дону, как об этом свидетельствует «хождение» Игнатия Смольнянина в Царьград (1389—1405 гг.), в том месте, где была Великая Лука, то есть излучина Дона (район Цимлянского водохранилища), в конце XIV века закапчивалась слабо заселенная территория русского Подонья и начиналась «земля татарская». Именно тут путники встретили впервые «татар много зело, якоже лист и якоже песок» (Православный палестинский сборник, т. 4, вып. 3. СПб., 1887).

Если конечное тюркское *-лы* суффиксального происхождения, то что же тогда означал корень *цим*? В таком виде для языков тюрков, населявших низовье Дона (это прежде всего кыпчакские языки, а еще ранее — половецкий), данный корень не типичен, так как для подавляющего большинства современных и древних

тюркских языков наличие звука *ц* не характерно. В тюркских языках Северного Приазовья он мог иметь узко диалектный характер или же его появление было вызвано сравнительно поздней звуковой заменой, имевшей место в русских диалектах. Рассмотрим подробно оба допущения.

Единообразие дошедших до нас вариантов гидронима *Цимла*, как уже говорилось, весьма затрудняет поиск его более древней формы и ее значения. Это заставляет искать несколько направлений в этимологизировании данного географического имени. Дальнейшие разыскания, возможно, позволят сузить круг рабочих гипотез или даже избрать единственную в качестве ответа на интересующий нас вопрос.

1) В основе гидронима могло лежать древнетюркское слово *сын* «памятник, могила» с болгарским переходом *-н > -м*, как, например, в гидрониме *Чертомлык* < тюрк. *чортан* «щука» + суффикс *-лык*, указывающий на присутствие того, что обозначено основой: в месте, где протекала речка **Сымлы* > **Сымла* (а затем, в силу изложенных ниже причин, — *Цимла*), могли находиться захоронения кочевников с типичными для них каменными изваяниями — «бабами».

2) Название реки может быть возведено и к тюркскому слову *чым* «дерн». Сравните казах. и ногайск. *шым* с тем же значением, где *ш* из *ч*. В тюркских языках есть производные от корня *чым* слова: «растение, дерн» — *чиман*, а «место, обросшее травой» — *чиманлык* (Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий). Замена *ч* на *ц* могла произойти в языке ираноязычных аланов, прежних обитателей южнорусских степей, который взаимодействовал с языками приазовских тюрков. В иранском по происхождению осетинском языке, сберегающем многие черты языка аланов, древняя иранская аффриката *ч* также отражена как *ц*. Цоканье могло развиться в древности и в диалектах приазовских тюрков. На основании изучения известного тюркского памятника начала XIV века «Codex Cumanicus» В. В. Радлов допускал, что цоканьем мог быть половецкий (куманский) язык, хотя современные тюркологи и не согласны с такой трактовкой. Произношение *ц* на месте древнего *ч* знают сейчас некоторые мишарские говоры казанскотатарского языка, а также собственно балкарский диалект карачаевобалкарского языка.

В таком случае первоначальная форма **Чымлы* (из которой впоследствии развились формы **Цимлы* и *Цимла*) означала «травянистая, покрытая растительностью». Это определение могло относиться к местности, по которой протекала река. Примечательно, что в этом же районе имеется речка с названием, как бы указывающим на противоположный признак — песчаную, малотравяни-

стую почву. Отражение в географических названиях этих признаков было очень существенным для кочевников-скотоводов. Это правый приток Дона ниже устья Цимлы — *Кумшак* или *Кумсак* с предполагаемым тюркским корнем *кум* «песок».

Встречающийся в некоторых источниках вариант *Цимля* (*Цымля*) мог получить конечное *-ля* под влиянием названия станицы *Цимлянской*. Кроме того, здесь могла сыграть известную роль нередкая в восточнославянской гидронимии взаимозаменяемость форм типа *Хвоцна* || *Хвоцня*, *Пальна* || *Пальня* и т. д., первые из которых по происхождению своему чаще всего прилагательные, а вторые — возникшие на их основе существительные (с «подгопкой» под хорошо известный суффикс *-ня*).

Если же в основе гидронима *Цимла* лежит предполагаемая тюркская форма **Сымлы* (от *сын* > **сым* «памятник, могила»), то как получилось, что на месте начального *с-* развился несвойственный тюркской речи звук *ц-*? Замещение тюркского *с-* на смычно-щелевой звук *ц-* могло произойти в русской диалектной речи. В ряде случаев замена *с* на *ц* в восточнославянских языках имела экспрессивное происхождение, например, *харцыз* «бродяга, разбойник» из тюрк. *хырсыз* «вор», *кацап* из тюрк. *касап* (в тюркских языках — арабизм со значением «мясник»), в словах попукарания животных *цобе* и *цоб* (из украинских *од себе*, то есть «направо»), и *к собі*, то есть «налево»), *цмок* «сказочный дракон» из *смок*, русский диалектный глагол *выцелить* «высыпать»; возможно, *церь* «сера» в «Повести временных лет» под 945 годом. (М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка). Одной из особенностей произношения согласных в ряде русских говоров (как южных, так и северных) является употребление *с* на месте *ц*, а также связанная с этим явлением обратная мнимоправильная (так называемая гиперкорректная) замена *с* на *ц*, то есть здесь можно услышать такое произношение, как *царай*, *цапоги*, *лец*, *цацы*, *цери*, *оцень*, *цвекла*, *рельцы*, *куцок* и т. д. вместо *сарай*, *сапоги*, *лес*, *часы*, *сери*, *осень*, *свекла*, *рельсы*, *кусок* (Русские говоры. М., 1975). Такого рода замена первоначального *с* на *ц* могла произойти и в топониме **Сымла*, изменившемся в *Цимла*.

К сожалению, до нас не дошла абсолютно достоверная форма такого гидронима с начальным *с*, хотя есть возможность ее предполагать. Латинское написание *Zimla* на карте Южной России Менгдена и Брюса 1699 года и искаженная форма *Sinila* (с лат. *ni* вместо *m*) на другой карте Южной России — И. Массы 1633 года (см.: В. Кордт. Материалы по истории русской картографии. Вып. 1—2. К., 1899—1910) в этом отношении не показательны, так как той же латинской буквой *z* передана и славянская аффриката *ч* в гидрониме *Чир* на карте Менгдена и Брюса

(у И. Массы — Tzier flu.). Более показательны другие речные названия тюркского происхождения в данном регионе, в фонетических вариантах которых могла найти отражение интересующая нас замена *с* на *ц*. Так, наряду с более употребительной формой гидронима *Цуцкан* (название притока Чира) в XIX веке и в начале нашего столетия была еще известна, по-видимому, первичная форма *Сускан*. Иногда в одном и том же источнике и даже на одной странице мирно уживались обе эти формы (как, например, в «Алфавитном списке населенных мест Области Войска Донского» — Новочеркасск, 1915). Другой *Цуцкан* мы находим выше устья Кагальника, правого притока Дона (Маштаков П. Л. Список рек Донского бассейна). Гидроним *Сускан* можно считать образованным от тюркской глагольной основы *сус-* «молчать» при помощи суффикса существительных *-кан*. Так могли быть поименованы речки за их спокойное и беззвучное (ввиду отсутствия перекаатов) течение. Смысловым эквивалентом *Сускана*, изменившегося в диалектной речи в *Цуцкан*, выступает распространенный по Дону гидроним *Тишанка*.

В заключение несколько слов об одной производной форме названия, отдаленно связанной с гидронимом *Цимла*. Речь идет об употреблении слова *Цимла* в качестве названия города *Цимлянска* или в значении «цимлянская земля». Например, 8 мая 1973 года в газете «Правда» была напечатана заметка «Чем *Цимла* славится», где можно прочесть: «... по климатическим условиям и количеству солнечных дней *Цимла* почти не уступает Южному берегу Крыма»; «...природа приготовила *Цимле* судьбу замечательной здравницы»; «...*Цимла* располагает богатейшими возможностями для того, чтобы стать городом-курортом» и т. д. *Цимла* как название города *Цимлянска* или его окрестностей («цимлянской земли») — это, конечно, не возрождение забытого уже названия старинного казачьего городка. Перед нами встречающийся в топонимии особый вид названия, образованного от полной или описательной формы (*Цимлянск, цимлянская земля*) путем обратного словообразования, когда из более сложного топонима в качестве самостоятельного слова выделяется какая-то его часть. Именно такого, например, происхождения слова *Питер* (из *Петербург*) и *Азов* (из *Азовское море, Азовье*), о чем подробнее можно прочесть в 5-м номере «Русской речи» за 1976 год (статья Е. С. Отина «Азовье — Азовщина — Азов»).

И. Г. ДОБРОДОМОВ,
доктор филологических наук,
Е. С. ОТИН,
доктор филологических наук

В севернорусских похоронных причитаниях встречается описание загробного жилища, поражающее своей метафоричностью:

Уж как еще спрошу я, беднушка,
У тебя, родитель-батюшка,
По уму ль тебе, по разуму ль
Как сделано хоромное строеньеце.

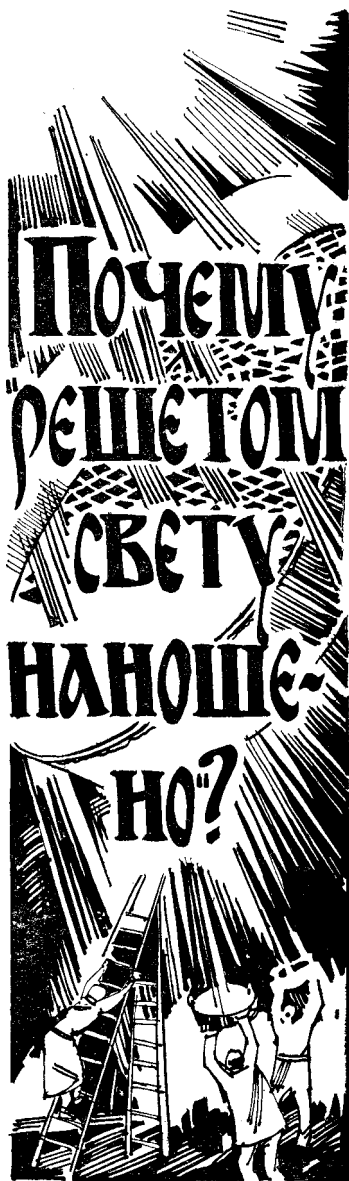
По нутру оно не мшное,
По верху не шоломлепное,
Уж долотом окна долочены
Да решетом света nanoшено.

Русские плачи Карелии

Само по себе уподобление гроба «хоромному строеньицу» не должно нас удивлять. Представление о гробе как о своеобразном жилище нашло отражение и в его традиционном названии — *домовище*, и в обычае прорубать в нем небольшое оконце. Еще в XIX веке на русском Севере сохранялся древний славянский обычай ставить над могилой небольшой домик. Это мог быть сруб с двускатной крышей, дверью, иногда и оконцами; внутри его устраивались полки для икон и лавка, на которую присаживались, придя «в гости» к покойнику.

Сходное описание «избушек» встречается и в свадебных причитаниях. Молодая рассказывает утром, как во сне она ходила по лесу:

В этом горькоем осиннице
Стоит маленька избушецка,
Небольшая фатерушецка,
Долотом двери продолблены,
Там сверлом окна просверлены,
Решетом свету nanoшено.



Особое внимание в этих фрагментах привлекают слова: «Решетом свет наношено». Эта яркая метафора — большая редкость, она встречается только в севернорусских причитаниях. Не попала ли эта метафора в причитания из какого-нибудь другого фольклорного жанра?

Обратившись к фразеологии, находим устойчивые обороты: *мешком свет носить, решетом солнца ловить* (Мокшенок В. М. Славянская фразеология). Быть может, заинтересовавшая нас метафора и восходит непосредственно к фразеологизму? Однако если принять такое предположение, то возникают новые вопросы. Почему фразеологизм так точно «заиграл» в тексте, где описывается жилище? Случайна ли его связь с мотивом окна?

*

Ответить на эти вопросы помогает сборник смоленских пословиц, собранных В. Н. Добровольским. Выражение *решетом солнца ловить* сопровождается здесь развернутым комментарием: «Когда не было окон, бабы старались, по народной легенде, поймать решетом солнце» (Добровольский В. Н. Смоленский этнографический сборник). Фразеологизм представляет собой свернутый сюжет, легенду, сжатую до одной формулы. В справедливости этого наблюдения нам довелось убедиться в этнолингвистической экспедиции в Полесье: выражение *носить солнце решетом* вспоминается людям именно в связи со сказочным мотивом.

Этот мотив чаще всего встречается в сказке о том, как человек, возмущенный глупостью своих родственников, отправляется на поиски еще больших гупцов, чем они. По дороге он видит мужчину, женщину или группу людей, которые построили дом или церковь без окон. Неудачливый строитель выходит на улицу с решетом или мешком, «набирает» в них солнце и пытается занести его в дом. Путник прорубает в доме окно, вставляет стекла и, получив вознаграждение, отправляется дальше. Впоследствии ему могут встретиться и другие гупцы, иногда же вся сказка сжимается до одного эпизода, как это бывает в анекдотах о гупцах.

Известен, кстати, такой шуточный рассказ о том, как рязанцы воевали с москвичами: «Ровно в полдень солнце поворотило свой лик на рязанцев. Догадались и рязанцы: высыпали из мешков толокно и стали *ловить солнышко. Поднимут мешки вверх, наведут на солнышко да и тотчас завяжут*. Поглядят вверх, а солнышко все на небе стоит, как вкопанное. „Не сдобровать нам,— говорили рязанцы.— Попросим миру у москвичей; пускай солнце возьмут назад“. Сдумали и сделали» (Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века).

Мотив ношения солнца мешком широко известен в европейском фольклоре: у финнов, литовцев, шведов, французов, немцев, сербов, русских, украинцев, белорусов. Знали такие сказки и на русском Севере, неподалеку от тех мест, где записаны наши причитания.

Нужно отметить, что мотив принимает подчас и серьезное обличье. В одной легенде рассказывается о том, что когда-то люди строили дома без окон и пытались носить с улицы свет до тех пор, пока бог, ангел или странник не объяснили им, что надо прорубить окно. Эта легенда была широко известна на Украине еще в XVIII веке, отмечалась она и в России, в Костромском крае.

В том, что мотив из сказки или легенды (прямо или через посредство фразеологизма, представляющего собой свернутый мотив) мог перейти в причитания, нет ничего странного. Вспомним замечание такого знатока русского фольклора, как М. К. Азадовский: «...причитание черпает отовсюду свои материалы и является своеобразным народно-поэтическим синтезом. Происходит непрерывное заимствование и усвоение, непрерывный процесс выработки и создания определенных поэтических формул» (Азадовский М. Ленские причитания).

Важно отметить другое. Мотив приобрел в причитании принципиально иной смысл, нежели в легенде или сказке. В последних речь идет о действиях, поступках людей, в причитании же *решетом свету наошено* — это метафора, которая эмоционально передает, как тускло, печально в том доме, где «сверлом окна просверлены».

Метафора, созданная талантливыми народными исполнителями, не просто использует традиционный мотив, она выявляет его потенциальную мифологичность. Не случайно в причитании фигурирует решето, а не мешок, как это чаще бывает в сказках. Дело в том, что решето используется в разнообразных славянских ритуалах, упоминается оно и в устной словесности. Как ритуальный предмет решето имеет сложную символику: оно является вместилищем чудес (в него складывают даже песни!), вместилищем даров, решету уподобляется небесный свод или солнце, как, например, в загадке: *Сито, вито, круговито, кто ни взглянет, тот заплачет*.

Сказочный мотив, известный многим народам и нашедший воплощение не только в сказке, но и анекдоте и легенде, стал основой для создания высокохудожественной метафоры севернорусских причитаний.

А. Л. ТОПОРКОВ

Ленинград

Рисунок С. Гавриловой

Поэт есть хитрый чародей:
Его живая мысль, как фея,
Творит красавиц из цветка;
На сосне розы производит,
В крапиве нежный мирт находит
И строит замки из песка.

К а р а м з и н. К бедному поэту



Имя Черномор носят два персонажа сказочных произведений А. С. Пушкина. Один — из поэмы «Руслан и Людмила» — «коварный, злобный» чародей-карлик, «волшебник страшный Черномор, красавиц давний похититель». Другой — из «Сказки о царе Салтане...» — «старый дядька» тридцати трех богатырей, который «с ними из моря выходит и попарно их выводит», лицо хоть и тоже фантастическое, но вполне добродушное. Что значит это имя, каков его внутренний смысл, как оно образовано и почему стало именем двух столь разных персонажей? Этими вопросами пушкинисты, насколько нам известно, специально не занимались. Постараемся на них ответить.

Сразу можно сказать, что *Черномор* — слово сложное, состоящее из двух корней. Первый — бесспорно, корень прилагательного *черный*. Что же касается корня *-мор*, то для второго Черномора — дядьки «витязей морских», говорящего от их имени: «...А теперь пора нам в море; Тяжек воздух нам земли», — он тоже ясен: это, копечно, корень слова *море*. Но в таком случае остается непонятным, почему «морским именем» назван карла-волшебник. Дело усложняется тем, что поэма «Руслан и Людмила» написана гораздо раньше «Сказки о царе Салтане». Более сложный случай оказывается более ранним.

Некоторая сложность есть, впрочем, и в объяснении имени «морского дядьки» через сочетание *черное море*. Дело в том, что эпитет *черное* к слову *море* нехарактерен ни для русского фольклора вообще, ни для поэтики «Сказки о царе Салтане»: здесь море — *синее*, даль его — *лазоревая*. Сочетание *Черное море* известно лишь как собственное географическое имя, как составное название определенного моря на юге России. Такое соотнесение пушкинской сказки с реальным Черным морем как будто не лишено оснований,



Известно, что «Сказка о царе Салтане» представляет собой обработку народной сказки, записанной Пушкиным. Эта запись сохранилась и публикуется в собраниях сочинений поэта. Из нее явствует, что царь Салтан — это не кто иной, как «Султан Султанович, турецкий государь» (выделено нами. — Авт.). Кстати, и нарицательное название турецкого государя — *султан* — встречается у Пушкина в форме *салтан*: «Не он ли [Мазепа] наущеньям хана И цареградского салтана Был глух?..» (Полтава). Таким образом, действие «Сказки о царе Салтане» может происходить именно на Черном море. Но такой подход нельзя не признать несколько поверхностным. Образ сказочного острова, на котором жизнь беззаботна и радостна, довольно распространен в устном народном творчестве, особенно у северных народов. Пушкинский остров князя Гвидона именно таков, со всеми чертами земного рая; не будем забывать, что это сказочный, фантастический остров. И, хотя имя «дядьки Черномора» ассоциируется с Черным морем, ни один читатель не возьмется утверждать, что остров Гвидона стоит на Черном море. Пушкин тонко обыграл внутреннюю форму имени, соединив фольклорное представление о вождленном сказочном острове в теплом море с реальным Черным морем, но ничуть не нарушил условности сказочного мира, сумел лишь наметить возможность, но не утверждать. Фантазия читателя при выборе места действия географически не ограничена. Ясно, что Черномор из «Сказки о царе Салтане» — это пушкинское творение, переосмысление имени, ранее употребленного уже в «Руслане и Людмиле», причем переосмысление с учетом народной психологии и законов жанра сказки.

А что же Черномор-волшебник? Здесь внутренняя форма имени в ее связи с характером персонажа воспринимается гораздо труд-

нее. И все же можно соотнести в нем компонент *-мор* с другим гнездом слов — *мереть, мор, морить, смерть*. Черномор как символ зла может ассоциироваться в таком случае с какой-то, впрочем довольно абстрактной, «черной смертью». Учтем и возможные здесь связи с переносным значением прилагательного *черный* — «злой, злонамеренный, преступный», встречающимся неоднократно и в пушкинских текстах, например в сочетаниях *черная зависть* (Сказка о мертвой царевне), *черные помышления* (Полтава), *злобы черная печать* (Руслан и Людмила), *черный злодей* — о человеке, совершившем преступление, убийство (Скупого рыцаря). Ощутима и связь с устойчивым сочетанием *черные книги* (колдовские): Черномор «Руслана и Людмилы», как явствует из текста поэмы («...Я в черных книгах отыскал, Что за восточными горами... В глухом подвале, под замками Хранится меч...»), еще и черно книжник.

Установив, что компонент *-мор* в имени одного Черномора (второго в пушкинском творчестве) связан с *морем*, а в имени другого Черномора (первого у Пушкина) — скорее с *мором*, смертью, мы должны признать, что имеем дело не с одним именем, а с двумя разными именами, причем компоненты *-мор* в этих именах — единицы одинаково звучащие, но имеющие разный смысл, то есть омонимы. Подобное совпадение основ разных слов в одном звуковом комплексе характерно для русского бессуффиксального словообразования, особенно для сложных слов: ср., например, *-нос* в *водонос, медонос, каучуконос, перенос, занос* (корень глаголов *носить — нести*) и в *утконос, дубонос* (птица с сильно развитым клювом), *подковонос* (летучая мышь), *остронос* (рыба) (корень существительного *нос*); *-вод* в *экскурсовод, плотовод, пчеловод, привод, отвод* (корень глаголов *водить — вести*) и в *углевод* (корень существительного *вода*); *-мол* в *мукомол, помол, размол* (корень глагола *молоть*) и в *богомол* (корень глагола *молиться*); *-мор* в *мухомор, клопомор* (корень глаголов *мереть — морить*) и в *беломор* (см. «Словарь названий жителей СССР», М., 1975), *помор* — в старых названиях жителей побережья Белого моря (корень существительного *море*). Эти-то два омонимичных компонента *-мор* и можно усмотреть в именах двух пушкинских Черноморов.

Однако данная до сих пор характеристика первого пушкинского Черномора — злого волшебника — неполна. Пора наконец сказать, что этот первый пушкинский Черномор — Черномор «Руслана и Людмилы» — не оригинален, что он представляет собой литературное заимствование. Источник заимствования — литературный учитель юного Пушкина Карамзин. В его «богатырской сказке» «Илья Муромец», написанной за четверть века до «Руслана и Людмилы», мы встречаемся с еще одним, третьим, а хронологически —

с первым Черномором в русской литературе. И этот Черномор — тоже злой волшебник.

На то, что Пушкин заимствовал Черномора, как и само это имя, у Карамзина, по-видимому, впервые указал П. Владимиров в статье «Происхождение „Руслана и Людмилы“» (Киевские университетские известия, 1895, № 6). А вскоре М. Халанский писал в комментарии к брокгаузовскому изданию сочинений Пушкина: «Черномор, враг Руслана и похититель Людмилы, взят из «богатырской песни» Карамзина «Илья Муромец», в которой рассказывается, между прочим, об усилении злым, хитрым волшебником Черномором красавицы и о пробуждении ее при помощи талисмана доброй волшебницы Велеславы» (Библиотека великих писателей. А. С. Пушкин, т. I, под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1904).

Как видим, сама ситуация пробуждения витязем спящей очарованным сном красавицы с помощью волшебного перстня без изменений перешла в юношескую поэму Пушкина из сказки Карамзина. «Сон мой был очарованием злого, хитрого волшебника, Черномора-ненавистника», — говорит красавица в карамзинской сказке сразу после своего пробуждения.

*

Итак, первым употребил имя Черномор Карамзин. Откуда он мог его взять? Поиски этого имени в русском фольклоре оказываются безуспешными. Его нет и в словарях русского языка. [Единственная словарная фиксация его — в уже упомянутом новом «Словаре названий жителей СССР» (*черноморы* — «черноморцы, жители Причерноморья», с одной только цитатой из произведения писателя конца XIX в. П. Гнедича) — по-видимому, обязана своим появлением более поздней литературной судьбе слова, переосмыслению его в пушкинской сказке.]

Имя Черномор — скорее всего — факт словотворчества самого Н. М. Карамзина, соединившего основу прилагательного *черный* с компонентом *-мор* в одно сложное слово.

Используя в имени злого волшебника корень *-мор*, Карамзин опирался не только на смысловые связи с уже упомянутым гнездом *мереть, мор, смерть*, но и, несомненно, на широкую (как славянскую, так и западноевропейскую, и еще шире — индоевропейскую) мифологическую традицию. Корень *мор* связывается в этой традиции не только с понятием смерти, но и с понятием *ночи, тьмы, мрака*, с олицетворением сил, противоположных жизни и свету.

Самым близким по форме к интересующему нас компоненту сложения является имя одного из второстепенных божков древнегреческого пантеона — Мора (Мороса), сына Ночи, упоминаемого

в «Теогонии» Гесиода: «Ночь родила еще Мора ужасного с черлою Керой. Смерть родила она также, и Сон, и толпу Сповидений» (перевод В. Вересаева). Как видим, этот Мор существо высшего мифологического порядка, находится в родстве и с ночью, тьмой, чернотой, и со смертью; имя его этимологически родственно русским словам *мор*, *мереть*.

В той же карамзинской сказке мы неожиданно сталкиваемся с еще одним греческим словом, причем сходно звучащим. Обращаясь ко Лжи как вдохновительнице сказочного вымысла («...*Ложь*, *Неправда*, призрак истины! будь теперь моей богиней... *Ложь!* с тобою не учиться мне небыллицы выдавать за быль»), поэт называет среди других ее способностей и такую: «...величаешь *Пантомороса* славным, беспримерным автором...», причем к слову *Пантомороса* сделано самим Карамзиным шутивное примечание: «То есть обер-дурака». Примечание потребовалось не случайно: слово это, состоящее из двух древнегреческих корней — *панто* — «весь, во всех отношениях, вполне, совершенно» и *морос* «глупый, глупец», — тоже создано, по-видимому, самим Карамзиным по греческому образцу (в древнегреческих словарях этого слова нет). Входящее в его состав греческое *морос* «глупец, дурак» звучит (по крайней мере, в русской передаче) точно так же, как имя божка Мора (Мороса). По смыслу Пантоморос, конечно, дальше от Черномора, чем божок Мор. Но это имя свидетельствует, во-первых, о склонности Карамзина к словосложению с использованием греческих корней и, во-вторых, о вероятности (в силу чисто формальной, звуковой близости Черномора и двух греческих «моросов») предполагаемого нами сближения Черномора с божком Мором — Моросом.

*

Корень *мор* и (с чередованием гласных) *мар* широко представлен также в славянской мифологии в именах различных существ, воплощающих, согласно древним, восходящим к язычеству, поверьям, силы мрака, тьмы, смерти. Так, Мара, Мора и Марена, Марана, Морена — в славянской мифологии богиня, воплощающая смерть, мор (см.: Мифы народов мира. Энциклопедия, т. 2, М., 1982; см. также в исследовании А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», в кн.: А. Н. Афанасьев. Древо жизни, М., 1983). В русских диалектах *мара* — «морока, наваждение, привидение, призрак», *мора* — «мрак, тьма, сумрак, потемки» (см. Словарь Даля); ср. *кикимора* (сложное слово с тем же корнем) — в русских поверьях род домового или оборотня; белорус. *мара* и укр.

мора — название нечисти. У западных славян *тога* и *тага* — названия мифологического существа, душащего ночью людей, а вторично — ночной бабочки, воплощающей это существо; отсюда чеш. *míga* — «ночная бабочка» и «кошмар». Кстати, и французское по происхождению слово *кошмар* содержит тот же корень. «*Мара*, в низшей мифологии народов Европы злой дух, воплощение ночного кошмара (отсюда франц. *cauchemar*, «кошмар», англ. *nightmare*). Садится ночью на грудь спящего и вызывает удушье» (Мифы народов мира). Этимологически родственно им также имя древнеиндийского бога Мары (санскритское и пали *māra*, буквально «убивающий, уничтожающий»), персонифицирующего в буддийской мифологии «зло и все то, что приводит к смерти» (там же).

Мы вовсе не хотим сказать, что Карамзин определенно был знаком со всеми этими мифологическими персонажами и соотносил с ними своего Черномора. К тому же имя Черномор существенно отличается от перечисленных здесь имен фонетически и грамматически. Так, в славянской мифологии все рассмотренные имена с корнем *мор/мар* принадлежат существам женского пола и не случайно относятся грамматически к женскому роду. Один из новейших исследователей полагает, что укр. *мора*, рус. *кикимора*, серб. *мора*, чеш. *míga* выступали «как обозначение печистой силы, которая может восходить к женской ипостаси противника Бога Громовержца» (Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982). Этой своей «женской ипостасью» отмеченные славянские мифологические персонажи и их имена дальше от карамзинского Черномора, чем, например, древнегреческий Мор — Морос. Но надо упомянуть еще одного славянского (преимущественно западославянского) языческого бога — воплощение черных сил, сил зла, — Черпобога. Это имя тоже перекликается с Черномором, только уже своей первой частью.

Вот какой богатый мифологический фон сопутствует созданному Карамзиным имени злого волшебника!

Но вернемся к «Руслану и Людмиле» — поэме, отразившей не только карамзинское, но и много других литературных влияний. Ранние критики поэмы неоднократно отмечали влияние на нее фантастической поэмы «Оберон» немецкого романтика К. Виланда: «Нам представляется вероятной связь между тем эпизодом поэмы Пушкина, в котором рассказывается о похищении Людмилы с братного ложа, и ... следующими местами «Оберона»...: «Неподалеку отсюда ... обитает в крепком замке исполин Ангулафер, злейший враг Христианского имени, пастоящий мучитель прекрасного пола, и что всего хуже, безопасный от ударов меча и копья силою кольца, кое похитил он у малорослого волшебника, в замке, или звернице, которого вы без сомнения были» (Шеффер П. Руслан и

Людмила.— В сб. «Памяти Л. Н. Майкова». СПб., 1902). Цитата эта хорошо известна специалистам, и на нее ссылаются часто, однако проходят мимо «малорослого волшебника», который, думается, и есть один из прообразов Черномора. Волшебник-карлик — образ нехарактерный для русского сказочного репертуара, но он широко распространен в западноевропейском фольклоре. Таким образом, поэт соединил внешний вид запомнившегося персонажа и имя, взятое у Карамзина.

Это согласуется и с тем бесспорным фактом, что Пушкин в своей юношеской поэме многие черты действующих лиц и их имена (ср., напр. Руслан, Рогдай, Фарлаф, Ратмир, Финн), как и сюжетные мотивы, брал не из русских источников, а заимствовал из того круга литературы, который был ему известен с детских лет (например, из западноевропейского рыцарского авантюрного романа типа «Бовы королевича» или «Еруслана Лазаревича»). Не менее «литературны» образ и имя Черномора, но с неперменным учетом той работы, которую проделало воображение поэта, создавшего неповторимый образ карлы-волшебника таким, каким он представлен в поэме и на известной акварели художника Гартмана: коротконогий, со злобными глазами, разодетый в яркие одежды, с длинной бородой, с перстнями на цепких пальцах... В отличие от карамзинского Черномора, фактически лишь упомянутого в «богатырской сказке», Черномор «Руслана и Людмилы» облечен в плоть и кровь.

В заключение хотелось бы высказать еще одно предположение. Как известно, пролог «Руслана и Людмилы» («У лукоморья дуб зеленый...») отсутствовал в первой редакции поэмы и написан позднее, в 1825 году. Он навеян эпизодом одной из сказок, записанных поэтом в Михайловском и послуживших впоследствии источником «Сказки о царе Салтане».

Связь двух пушкинских Черноморов можно, как нам кажется, объяснить еще и органичной связью, преемственностью двух произведений, где они действуют. Зрелого Пушкина не устраивал, видимо, характер юношеской его поэмы. Не находя возможности приблизить ее больше к русскому народному духу, он написал пролог, восходящий к подлинной народной сказке, им услышанной. В этом прологе впервые у Пушкина появляется персонаж, названный впоследствии в «Сказке о царе Салтане» «дядькой Черномором», но здесь он еще не имеет имени, он просто «дядька их [витязей] морской». В упомянутом же варианте народной сказки, записанном Пушкиным, — это всего-навсего «старик», лишенный добродушия, строгий и скорее даже злой, который загоняет морских витязей обратно в море, и только во время третьего выхода их из моря на зов царевича, когда они выходят без старика, ца-

ревич может повести их всех — своих братьев — к матери. Может быть, к этому злему старику Пушкин первоначально и «примерял» имя Черномор, соответствующее его крутому нраву. Старик в окончательном варианте сказки подобрел, переосмыслил поэт и поправившееся ему имя.

Таким образом, вторичным у Пушкина появлением в «Сказке о царе Салтане» имени Черномор мы, вполне возможно, обязаны возвращению поэта к тексту «Руслана и Людмилы» в связи с работой над прологом и редакционной правкой второго издания поэмы.

В. В. ЛОПАТИН,

доктор филологических наук,

Э. А. ГРИГОРЯН,

кандидат филологических наук

Рисунок С. Гавриловой

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Прошу объяснить мне, чем отличаются друг от друга значения слов *обязать* и *заставить*?»

А. И. Бубельников, Липецк

Слово *обязать* имеет следующие значения: 1) наложить на кого-нибудь какую-либо обязанность, предписать что-то; 2) вызвать чем-нибудь на ответную услугу (книжн.). *Заставить* означает: поставить в необходимость делать что-нибудь, принудить.

Глагол *обязать* носит более книжный характер, чаще встречается в официальной речи; *заставить* — употребляется не только в нейтральном, но и в разговорном, в сниженном стиле.



«Как образовать форму творительного падежа единственного числа от слова *шприц*?»

Семья Агаповых, Тула

Существительное *шприц* в творительном падеже единственного числа имеет форму *шприцем*.



„Не пробуждай воспоминаний..“

Жанр романа появился в России в начале XIX столетия. Аналогично романсу во Франции он занял свое место в культуре города как лирическая песня с присущими ей напряженностью переживания, напевной мелодикой, синтаксической простотой и стройностью. «У романа нет „тем“, у него есть только одна тема: любовь. Все остальное: жизнь в смерть, вечность и время, судьба, вера и неверие, одиночество и разочарование — только в той мере, в какой они связаны с этой главной и единственной темой» (Петровский М. «„Езда в остров любви“, или Что есть русский романс» — Вопросы литературы, 1984, № 5).

Многим романсам XIX века была суждена долгая и значительная жизнь — они до сих пор в репертуаре современных исполнителей. Причина, по-видимому, в том, что этот когда-то новый жанр городского фольклора впитал в себя богатые традиции как устного народного творчества, так и русской литературы, выступил выразителем «сознания, стоящего между традиционным фольклорным мышлением и традиционной письменной культурой» (Лотман Ю. М. Блок и народная культура города.— Блоковский сборник IV, Тарту).

По сей день исполняется популярный городской романс, начинающийся словами «Не пробуждай воспоминаний...», музыку к которому в 70-е годы прошлого века написал П. Булахов:

Не пробуждай воспоминаний
Минувших дней, минувших дней —
Не возродишь былых желаний
В душе моей, в душе моей.

И на меня свой взор опасный
Не устремляй, не устремляй,
Мечтой любви, мечтой прекрасной
Не увлекай, не увлекай.

Однажды счастье в жизни этой
Вкушаем мы, вкушаем мы.
Святым огнем любви согреты,
Оживлены, оживлены.

Но кто ее огонь священный
Мог погасить, мог погасить,—
Тому уж жизни незабвенной
Не вернуть, не вернуть!

Каковы истоки этого известного произведения, насколько глубоки в нем фольклорные традиции?

На первый взгляд, на его текст оказали наиболее явное влияние стихотворение Е. Баратынского «Разуверенне» [«Не искушай меня без нужды...», 1821; музыкальные переложения стихов М. И. Глинки, Ф. Бюхнера, А. И. Дюбука и др.] и особенно стихотворение Д. Давыдова «Не пробуждай, не пробуждай...» (1834, музыкальные переложения стихов А. С. Животова, А. В. Мосолова и др.):

РЕМНИ

Не пробуждай, не пробуждай
Мои безумств и исступлений,
И мимолетных свиданий
Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,
Которой память — мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Иностраннику земли родной.

Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И раи живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволие,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой.

Близость романа «Не пробуждай воспоминаний...» к романсу на слова Д. Давыдова действительно не вызывает сомнения: общность темы, напряженность элегического повествования, достигаемая частыми лексическими повторами, обращение к лирическому герою на «ты», использование глаголов в повелительном наклонении (кстати, их у Давыдова значительно больше, что придает его стихотворению еще большую драматичность, нежели в городском романсе), семантическая завершенность каждой строфы, четырехстопный ямб... Близки по значению и некоторые лексические обороты: «тому уж жизни незабвенной не возратить, не возратить!» (в городском романсе), «не воскрешай, не воскрешай меня забывшие напасти...» (у Д. Давыдова).

Почему же городской романс пользуется неувядаемой популярностью, а произведение Д. Давыдова ныне полузабыто? Причина этого кроется не только в более удачном музыкальном переложении, но и в особенностях художественно-словесного организма «Не пробуждай воспоминаний...»

Романс «Не пробуждай, не пробуждай...» насыщен литературными конструкциями, свойственными романтическому стилю начала XIX века: *мимолетных свиданий, песнь отчизны, изгнаннику земли родной, тревогам страсти, горя своеволие, обманчивый покой*. Романс на слова Давыдова заканчивается торжеством пусть своеговольного, но страстного порыва над покоем «холоднокровья».

Городской романс, хотя и возник не без влияния романа на стихи Давыдова, но глубже и органичнее по сравнению с ним связан с фольклорными традициями, что и придало ему известную популярность:

Однажды счастье в жизни этой
Вкушаем мы, вкушаем мы.
Святым огнем любви согреты,
Оживлены, оживлены.

Мотив животворящего огня любви встречается еще в древнерусской песенной культуре, быть может, он восходит к древнеславянскому поклонению огню. В лирической песне конца XVII века в частности, повествуется:

Он расклат из них огник на моих белых грудех.
Загорелая искра к ретиву сердцу близко.
Горит мое сердце во моем белом теле,
Палит мою душу день и ночь непрестанно.

Образ огня, символизирующего любовь, уже использовался и в поэзии XIX века (например, «В крови горит огонь желанья, душа тобой уязвлена...» у А. С. Пушкина). Третья и четвертая строфы романа «Не пробуждай воспоминаний...» перекликаются с некоторыми народными пословицами, словно когда-то предсказавшими оттенки его содержания: *Любовь не пожар, а загорится — не потушишь, С огнем не шутят, Огонь не вода, охватит — не всплывешь* и др.

Сама драматическая коллизия романа имеет глубокие корни народной мудрости: безвозвратный отказ от любви являет собою погашение святого огня, что ведет личность к мукам памяти. Все в том же богатейшем древнем фольклорном своде обозначено: *Кто кому надобен, тот тому и памятен, Шила в мешке да любви в сердце не утаишь*. Эпитеты «Не пробуждай воспоминаний...» по своей природе тоже скорее всего тяготеют к фольклорному постоянному эпитету: *минувших дней, в душе моей, взор опасный, мечтой прекрасной, святым огнем, огонь священный, жизни незабвенной*. Часто встречающаяся инверсия (прилагательное после существительного) — фигура, также свойственная фольклору.

Свободное и естественное привлечение фольклорных традиций наряду с удачным переложением на музыку предопределило долгую жизнь романсу «Не пробуждай воспоминаний...» как в широком исполнении, так и в литературном процессе в России.

Как известно, значительный интерес к народной культуре города (и прежде всего к культуре песенной) проявлял Александр Блок. Свидетельством этого интереса выступает ряд известных фактов жизни и творчества поэта, его кропотливая работа по изданию стихотворений Аполлона Григорьева, проникнутых драматичной стихией романа.

Актриса В. А. Щеголева 20 января 1915 года фиксирует в своем дневнике впечатления о недавнем вечере у Ф. Сологуба и Ан. Чеботаревской: «Наст(я) (Ан. Чеботаревская) все хотела, чтобы я спела цыганские романсы: «А(лександр) А(лександрович) сказал, что не уйдет, если будут петь цыганские романсы», — сказала она; он указал на эти: „Не уходи, побудь со мною“. — Я ненавижу цыганские романсы, — ответила я, чтобы он слышал. (...) Но для него я бы пела, если бы от волнения у меня не пропал голос» (А. Блок. Литературное наследство, т. 92, кн. 3, М., 1982). Сестра матери Блока М. А. Бекетова 30 декабря 1905 года записала в свой дневник «загадочную фразу» поэта: «...романс это Мармеладов, почувствующий на барке» (Там же). Быть может, эти слова тонко передают внутренний строй самого жанра городского романа, воплотившего в себе литературные традиции и в то же время принципиально связанного с глубинами массовой народной культуры.

Блок считал, что художник должен пройти через культуру современного города, окунуться в «сине-лиловый сумрак ... при раздрающем аккомпанементе скрипок и напевов, подобных цыганским песням». Для Блока звучащие голоса современного города имеют особый глубинный смысл, принципиально отличный от пошлости меркантильного псевдонинтеллигентского мира. «Блок сознательно соизмерял свою лирику с массовым бытовым романсом, который ему, поэту с преимущественно слуховым восприятием действительности, был хорошо известен с голоса, в реальном звучании» (Петровский М. Указ. статья).

Интерес к жанру романса возник у Блока достаточно рано. Возможно, «Не пробуждай воспоминаний...» — один из первых романсов, подвергшихся непосредственному творческому переосмыслению поэта. Стихотворение, известное нам по первой строке «Усталый от дневных блужданий...» (1898), в черновом варианте содержало в себе 8 начальных строк, от которых Блок при публикации отказался, что было, по всей вероятности, связано со слишком тесной их близостью к романсу. Приводим полностью первоначальный текст этого стихотворения (с черновым и измененным в 1915 году вариантами третьей строфы):

Давно, давно воспоминанье
И отголоски лучших дней
Тревожат сонное молчанье
В груди страдающей моей.

Все ожиданья сладкой сказки,
Волшебных песен и цветов
И ласки, трепетные ласки
Промчались роем вешних снов.

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Усталый от дневных блужданий | Усталый от дневных блужданий |
| Уйду порой от суеты | Уйду порой от суеты |
| И вспоминаю те страданья, | Воспомнить язвы тех страданий, |
| И вновь восходят те мечты... | Встревожить прежние мечты. |

Когда б я мог дохнуть ей в душу
Весенним счастьем в зимний день?
О, нет, зачем, зачем разрушу
Ее младенческую лень?

Довольно мне вестись душою
К ее небесным высотам,
Где счастье брежжит нам порою,
Но предназначено — не нам,

В стихотворении Блока — характерный для романа ритмический рисунок, а ряд словесных оборотов прямо напоминает городской романс «Не пробуждай воспоминаний...»: *Давно, давно вспоминанье... и Не пробуждай воспоминаний...; лучших дней и минувших дней; в груди страдающей моей и в душе моей, сладкой сказки и мечтой прекрасной.*

Однако отдельные конструкции близки и к романсу на слова Е. Баратынского «Разуверение», связанному с городским романсом общностью мотива роковой тоски по ушедшей любви: *и ласки, трепетные ласки промчались роем вешних снов* (у Блока), *и не могу предаться вновь раз изменившим сновиденьям* (у Баратынского); *те мечты* (у Блока), *бывалые мечты* (у Баратынского); *уйду порой от суеты вспомнить язвы тех страданий* (у Блока), *и, друг заботливый, больного в его дремоте не тревожь* (у Баратынского); *дай отдохнуть тревогам страсти и ран живых не раздражай* (в романсе Д. Давыдова). Последний из приведенных примеров иллюстрирует бытующее в трех литературных произведениях образное отождествление тоски о прошедшей любви с болезнью. В городском романсе «Не пробуждай воспоминаний...» такого рода метафора отсутствует.

Адресат стихотворения Блока (вероятно, Л. Д. Менделеева) в данном случае не столь важен для понимания его особенностей и новизны по сравнению с названными романсами XIX века.

Ключ к пониманию, скорее всего, запрятан в рукописной помете Блока к седьмому стиху приведенного выше чернового варианта стихотворения: («И ласки, трепетные ласки») — «т. е. мысли о них». Следовательно, речь идет о прозрении Прекрасного начала, о Женственности вообще, поэтому-то конкретное лицо не присутствует в главном плане стихотворения, поэтому стихотворение менее драматично (нет привычного для упомянутых романсов обращения на «ты»), менее страстно и более лирически отвлеченно и символично, чем, например, «Не пробуждай воспоминаний...». Не случайно, что последние две строфы не несут на себе каких бы то ни было лексических и стилистических следов предшествующих романсов; Блок идет от романа в традициях «Не пробуждай воспоминаний...» к лирическому стихотворению, к своей личной теме:

Когда б я мог дохнуть ей в душу
Весенним счастьем в зимний день?
О, нет, зачем, зачем разрушу
Ее младенческую лень?

Довольно мне нестись душою
К ее небесным высотам,

Где счастье брежжит нам порою
Но предназначено — не нам.

Работая над стихотворением «Усталый от дневных блужданий», поэт шел от литературы к городскому фольклору («Не пробуждай воспоминаний...»), а от народной стихии романса к своему самобытному творчеству. Прямое свидетельство такого пути — первые 8 строк стихотворения, оставшиеся по воле поэта при его жизни только в рукописи.

Бытие «Не пробуждай воспоминаний...» подтверждает, что возникший в начале XIX века в России жанр романса явился горячей точкой соприкосновения фольклора и литературного процесса, своеобразным стилистическим индикатором связи широкой городской культуры и высокого творчества.

Е. М. БЕНЬ,
Научный сотрудник отдела
публикации ЦГАЛИ СССР

Рисунок В. Комарова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Почему название *Вишняковского переулка* и *Вешняковской улицы* в Москве пишутся по-разному?»

Г. П. Горбанюк, Москва

Вишняковский переулочок и Вешняковская улица расположены в разных районах Москвы. В их названиях сохранились исторические наименования. На месте нынешнего Вишняковского переулочка в XVII веке находилась стрелецкая слобода «приказа Вишнякова», а Вешняковская улица и Вешняковские 1-й и 4-й проезды названы так по наименованию местности на востоке Москвы — Вешняки, известной с XIV века. Теперь Вешняки вошли в состав Москвы.

■

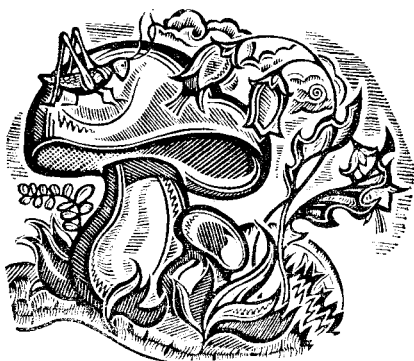
«Некоторые счетные работники и работники торговли существенно *прибыль* во множественном числе произносят *прибыль*. Верно ли это?»

Д. Я. Самойлов, Новая Каховка

Слово *прибыль* во множественном числе имеет форму *прибыль*.

БОРОВИК, КОРОВКА, СЛАВНЫЙ

О названиях
белого гриба
в русских говорах



Грибы относятся к числу растений, которые издавна собираются и используются в пищу человеком. Первое упоминание о грибах встречается у древнегреческого ученого Теофраста (IV в. до н. э.), описавшего в своих трудах шампиньоны, трюфели и некоторые другие виды (Андрест Б. В. Грибное лукошко. М., 1972).

Наиболее ранние письменные сведения о грибах на Руси относятся к XIV—XV векам. Начиная с XVI века, указания на использование грибов встречаются в хозяйственных документах частных лиц, в русском фольклоре.

Известный советский миколог (ученый, изучающий грибы) Б. П. Васильков отмечает, что употребление грибов в пищу нигде не пользовалось таким почетом, как в России. Однако не везде. Такие народы, как осетины, армяне, грузины, карелы до самого последнего времени не употребляли грибов в пищу. Не пользовались грибами вниманием у степных жителей (татар, башкир и др.) и даже у исконных жителей лесов: якутов, саамов, пенцев. Интересно отметить в связи с этим, что в языке коми названия грибов представляют собой либо кальки с русских названий, либо являются прямыми заимствованиями из русского языка (Котелина Н. С. Съедобные и ядовитые грибы Коми АССР. Сыктывкар, 1966).

Первоначально все грибы в русском языке назывались словом *губы*. Приведем примеры из «Словаря русского языка XI—XVII вв.»: «А по Федорове недели в понедельник, в среду и в пяток хлеб и капуста и губы» (1493 г.); «Ни белки не лесовати, ни рыбы ни ловити, ни ягод ни губ не носити» (1598 г.).

Слово *гриб* появляется в текстах с XVI века и, вероятно, первоначально обозначает лишь грибы, относящиеся к классу *Boletus* (трубчатых): «Луку да чесноку, грибов да сукно полтретьянацата

алтына» (1570 г.); «А в посныя дни (пирогы) с кашею, ... з грибы, и с рыжики» (XVI в.); «Да послала я ... в мешечке грибокв маленькых, да криночку рыжичков» (1682 г.).

Лишь к XVIII веку (то есть периоду складывания русской ботанической терминологии) слово *гриб* утверждается в качестве общего названия всех грибов, вытеснив слово *губа*, которое встречается до сих пор в ряде говоров в значениях «любой гриб» или «пластинчатый гриб», а в ботанической литературе служит синонимом грибу-трутовнику.

Микологи делят все грибы на четыре категории по степени пищевой ценности. Белый гриб относится к первой категории, считаясь одним из самых ценных. Вероятно, поэтому он имеет несколько десятков названий в русских народных говорах.

Большая часть названий представляет собой мотивированные слова. Это значит, что говорящим на данном диалекте понятно, по какому признаку гриб получил свое наименование. Однако гриб, как и любой другой предмет реальной действительности, имеет целый ряд признаков и качеств и, следовательно, может получить название по любому из них. Замечено, что основой названий служат обычно либо признаки наиболее заметные, отличительные, либо те, которые важны для практического использования.

Внимательное, любовное отношение к белому грибу закрепилось в народных названиях, отразивших разнообразные признаки, связанные с внешним видом гриба: цветом, формой, строением; с особенностями произрастания; многие отражают биологическую связь этого гриба с определенным видом дерева и т. д. В некоторых говорах, например в деулинском, названия типа *желтяк*, *желтый гриб*, *полубелый гриб* употребляются для характеристики более низкого товарного качества белого гриба.

Среди названий гриба по признаку цвета наиболее продуктивными являются слова с корнями *бел-* (белевик, белевский грибок, белевик, белоголовник, белый боровик, белый обабок, беляк, белянка, белыш, полубелый), *бур-* (бурый гриб, бурый обабок, бурка), *желт-* (желтяк, желтый гриб), *красн-* (красноголовик, красный гриб), *черн-* (чернокорик, черный гриб). Единично образование с корнем *сед-* (седуля — калинин.). Прилагательное *седой* в калининских говорах имеет значение «белый, светлый», чаще о цвете волос (Опыт словаря говоров Калининской области).

Аналогичная цветовая модель известна в украинских (біляк, рудяк) и белорусских говорах (білыы гриб, чарнагаловік, чорныы гриб).

В названиях *масленик*, *подмасленик*, *ореховый гриб* *ореховик* признак цвета выражен опосредованно, путем ассоциативного сравнения (желтый, как масло, как орех).

Ряд наименований отражает особенности формы, строения гриба: *гладыш* (моск.), *толстокорённый*, *толстокорёнок*, *толстокорёныш*, *толстокорёный*, *толстоно́н*, *толстоно́ный гриб* (арх.). Белый гриб с длинным корнем, растущий во мху, называют *жиловатик* (черепов.).

Название *ре́нник* (арх.) характеризует гриб как плотный, крепкий. Сравнение «плотный, как репа» является устойчивым для архангельских говоров.

Место произрастания белого гриба наиболее последовательно связывается с бором: *ба́рви́к* (брян. калуж.), *ба́ров* (ленингр.), *борово́й рыжик* (олон.), *боровок* (амур.), *борово́й гриб*, *боровик*, *боровичок* (литер.). Впервые слово *боровик* как «название некоторых съедобных грибов» отмечено в русских текстах XVII века: «Куплено тысеца боровиков грибов, дано полтора рубли» (1669 г.). *Боровик* известен в украинском, белорусском и польском языках.

Немногочисленны образования от других корней: *болотник*, *мохови́к* (арх.), *логови́к* (новг., волог.), *луговик*, *лугово́й гриб* (твер., ряз.), *глухарь* (твер., влад., моск., урал.), *глуховик* (моск.), *леды́нный гриб* (калинин.). *Леды́ной* в калининских говорах называют участок, заросший лесом.

Кстати, слово *глухарь* включено в «Словарь современного русского литературного языка» с пометой «областное» и примечанием «белый гриб, растущий в глухом бору».

Каждый гриб сосуществует в симбиозе с определенными видами деревьев. Такое сосуществование обоюдно полезно — и грибу, и дереву. Микологи утверждают, что белый гриб любит родиться в сосновых, березовых, еловых, дубовых лесах. Эти особенности отражены в народных названиях белого гриба: *дубовый гриб* (влад., ряз.), *дубови́к* (череп. новг., калинин., моск., ряз.), *поддубе́нь* (орл., тул.), *поддубёнок*, *поддубешник*, *поддубник* (моск.), *поддубовик*, *поддубовник* (новг., моск.), *елвенник* (перм.), *подосёп*, *подъёлыш* (калинин.).

Слово *дубовик* включено в толковые словари русского языка без пометы «областное». Связь белого гриба с дубом отмечена в украинском (*дубовий гриб*, *дубрівник*, *дубровник*, *піддубник*) и белорусском языках (*дубовый гриб*).

С. Т. Аксаков в своих «Замечаниях и наблюдениях охотника брать грибы» (собр. соч. в 5 том., том 5) посвящает несколько живописных строк и дубовику: «У меня есть дубовая роща, в которой находится около двух тысяч старых и молодых дубов; старые, в числе более двухсот, стоят очень редко между собою на большой сенокосной поляне, и только под некоторыми из них с незапамятных времен рождаются во множестве белые грибы, несколько особенного образования и величины, необыкновенной

плотнины и крепости и также необыкновенного бронзового или стального цвета, иногда пестрые и глянцевитые, как мрамор».

Значителен пласт названий, связанных с животными. Б. П. Васильков в своей монографии «Белый гриб» (М.—Л., 1966) пишет о том, что белые грибы едят белки, мыши, коровы, иногда овцы; особенно любят их олени.

Наиболее многочисленными и широко распространенными являются названия с основой *коров-*: *корова*, *короватик*, *коровеник*, *короветик*, *коровик*, *коровка*, *коровник*, *коровочек*, *короватник*, *короветник*, *коровий гриб*, *коровина*, *коровинник*, *коровичек*, *коровичок*, *коровушка*, *коровяк*, *коровьяк*, *коровятик*, *коровятка*, *коровятник*, *подкоровник*, *подкоровенник*.

Возможно, что эти названия давались не только по признаку съедобности гриба, но и на основе отдаленного ассоциативного сходства: крупное животное — крупный мясистый гриб. В. А. Меркулова соотносит слово *коровка* с названием игральной кости («Очерки по русской народной номенклатуре растений». М., 1967).

Названия с другими корнями представлены гораздо меньшим количеством образований: *конинник* (арх.), *коновяш*, *коновятик*, *копеватик* (череп. новг.); *медвежник* (сев., олон., новг.), *медвежаник* (весьегон., твер.), *медвежатник* (калинин.), *медведовик*, *медвежаны* (волог.); *олений гриб* (Даль, без указ. места). В. А. Меркулова пишет: «Слово *коновятик* могло быть образовано от названия деревянной обручной кружки *кóновъ*, *кóновка*...»

Собирание белых грибов обычно связано с яркими эмоциональными переживаниями. Д. Зуев, например, в книге «Дары русского леса» (М., 1960) замечает, что класть в корзину маслята — это проза грибника, собирать белые — это лесная поэзия. «Чем еще бесценен белый гриб для охотника-грибника? Тем, что каждый раз, когда находишь его, сердце екает дважды. Первый раз оно екает, когда увидишь прекрасный белый гриб и уже понимаешь, что теперь он никуда не денется. ...когда срежешь гриб у самой земли и увидишь, что мясо корня так же бело и чисто, как сметана или свиное сало, тогда второй раз екает сердце» (В. Солоухин. Третья охота).

В названиях белых грибов, как никаких других, отразилось эмоциональное отношение к ним. Причем в одних названиях оцениваются определенные объективные качества, свойства гриба, в других же образно закреплены какие-то самые общие ассоциации, обычно связанные с эмоционально-экспрессивной оценкой этих качеств.

К первой группе относятся: *дорогой гриб* (арх., сев.-двин., пенз., новосиб.), *дороган* (арх.), *дорогой обáбок* (арх.), *добрый* (курск., брян.), *славный* (калинин.). Сравним в украинском *гриб*

правдивый, гриб справедливый, справный гриб; в белорусском *добры гриб, правдывый гриб, правдывецъ, справыдлывый гриб*.

Названия второй группы более разнообразны: *княжик, княжичок* (волог.), *пан* (арх., олон., яроsl., калинин.), *вахрамей, солдат, подполковник, коврижка, каравай* (арх.). Название *подполковник*, возможно, навеяно фольклором: в народной сказке «Война грибов» говорится о том, что гриб-боровик всем грибам полковник.

В названии *пан.* вероятно, сочетается отношение к виду как важному, главному с ассоциациями эмоционального характера: белый, толстый, как пан. В. А. Меркулова считает возможными ассоциации с пермским и вятским *панок* — «бабка, битка, палитая свипцом». В названиях *коврижка, каравай* признак формы, строения и ценности гриба выражается через образное сравнение с хлебом: толстый, плотный, тяжелый, вкусный.

Москови́к (арх.), *москаль* (перм.), *московка* (калинин.), *подмосковный гриб* (орл.), *питерский гриб* (арх.) — несомненно, в этих названиях выражена положительная оценка качеств гриба. Одновременно эти наименования свидетельствуют о том, что отношение к белому грибу как ценному, доброкачественному сложилось под влиянием городской культуры.

Дело в том, что на русском Севере белый гриб, как и вообще трубчатые грибы, ценился ниже, чем пластинчатые. Такое положение сохранилось в некоторых северных говорах до настоящего времени. В ряде онежских диалектов, характеризующихся слабо расчленённой системой наименований трубчатых грибов, вообще отсутствует название для белого гриба. Можно думать, что названия типа *московик* представляют белый гриб как вид, особенно ценящийся в городе (у столичных жителей).

Как и другие ранние грибы, поспевающие в то время, когда колосится рожь, белый гриб называют *колосник, колосовик, колосьянка* — в большинстве районов Европейской части страны.

Следует указать и группу названий с затемненной (или спорной) мотивировкой основы: *бабка* (смол.), *бёбик* (рост., яроsl.), *бóйки* (череп., новг.), *гриб* (курск., сарат., ульян., арх.), *ковёл* (сарат.), *печура* (пск., калинин.), *поплавок* (калинин.), *толкач* (калуж.), *целёк* (волог.), *челёш* (яроsl.) и другие.

Отметим многозначность ряда названий. Например, в разных областях имеют различные значения *боровик* — белый, подосиновик, рыжик, козляк; *беляк* — белый, подгруздок, молочай; *белянка* — белый, сыроежка, поганка; *красноголовик* — белый и подосиновик; *печура* — белый и шампиньон.

Для отдельных корней иногда можно указать довольно четкий ареал их распространения. Так, слова с корнем *коров-* бытуют широко в Европейской части СССР, заходя на Урал. Названия с

корнями *медв-, кон-, дорог-* встречаются во многих севернорусских говорах, а с корнями *барв-, добр-* — в ряде южнорусских.

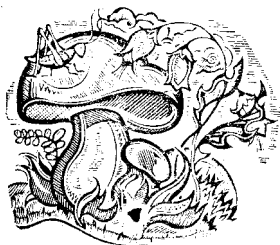
К сожалению, точной географии, как и полного списка названий белого гриба по всем русским говорам, сейчас дать невозможно, в связи с недостатком сведений по этой теме в научной литературе.

Н. Ю. МЕРКУЛОВ,

кандидат филологических наук,

Е. А. НЕФЕДОВА

Рисунок В. Толстоногова



ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И ЗАГАДКИ О ГРИБАХ

Как пирог с грибами, так все с руками; а плеть с узлом, так и прочь с кузлом.

Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

Бояться волков, быть без грибов.

Стар гриб, да корень свеж.

Зимой съел бы грибок, да снег глубокий.

Назвался груздем, полезай в кузов.

С кем по грибки, с тем и по ягодки.

С твоим счастьем только в бор по грибы.

На бору, на яру, стоит старичок, красненький колпачок?

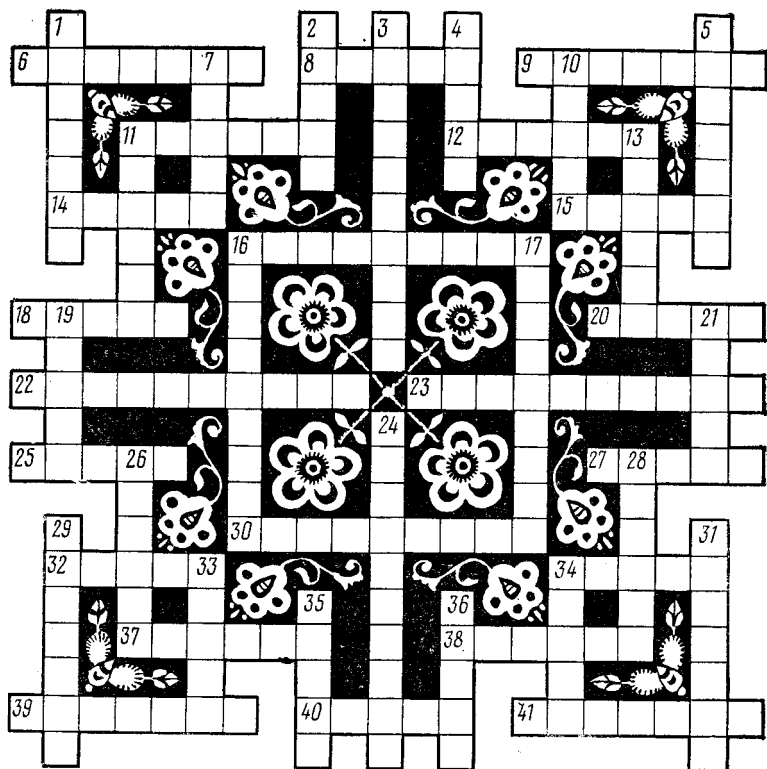
Маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел?

Шило, мотвило, под землей ходило, перед солнцем стало и шляпку сняло?

КРОССВОРД

По горизонтали: 6. В XIX — начале XX века: верхняя теплая женская одежда без рукавов в виде длинной накидки. 8. Стихотворение В. Маяковского. 9. Американский писатель, автор романа «Сарторис». 11. Слуга одного из героев романа А. Дюма «Три мушкетера». 12. Имя героя романа Бальзака «Утраченные иллюзии». 14. Название садового цветка, а также имя героини в пьесе В. Шекспира «Двенадцатая ночь». 15. Действующее лицо пьесы М. Горького «На дне». 16. Русский советский поэт, автор

сборника «Синева». 18. Рассказ И. А. Бунина. 20. Одна из героинь трагедии А. С. Пушкина «Каменный гость». 22. Драма Шиллера. 23. Рассказ К. Паустовского. 25. Место действия пьесы В. Шекспира «Укрошение строптивой». 27. Роман Г. Сенкевича. 30. Древнегреческий драматург. 32. Московское издательство. 34. Имя героини романа Майн Рида «Всадник без головы». 37. В древнеримской мифологии — богиня, покровительница земледелия. 38. Советский драматург, автор пьесы «Все остается людям». 39. Народный певец



на Украине. 40. Прозвище Баратынского в литературном кружке «Арзамас». 41. Рассказ А. И. Куприна.

По вертикали; 1. Близость языков, выражающаяся в звуковом сходстве языковых элементов разных уровней. 2. Буква латинского алфавита. 3. Действующее лицо комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 4. Романс М. И. Глинки на слова А. С. Пушкина. 5. Литературное произведение в форме записок о прошлых событиях, современником или участником которых был автор. 7. Сюжетное литературное произведение, написанное в разговорной форме и без авторской речи. 10. Имя героини романа И. А. Гончарова «Обломов». 11. Одноименные стихотворения А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. 13. Рассказ А. Н. Толстого. 16. Знакомая А. С. Пушкина, которой он посвятил стихотворения «Приют любви, он

вечно полон», «Храни меня, мой талисман» и др. 17. Русский советский поэт. 19. Герой очерков о путешествиях советского писателя — этнографа В. К. Арсеньева. 21. Французский поэт, сочувствовавший Парижской Коммуне и посвятивший ей стихи. 24. Повторение того же самого другими словами. 26. Стихотворение С. Есенина. 28. Легендарный воин и бард кельтов. 29. Русский советский писатель, который вел телеальманах «Подвиг». 31. Логический или этический принцип, выраженный в краткой формуле, правило, норма поведения. 33. Хозяйка светского салона, фрейлина, в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 34. Фамилия одного из персонажей в романе И. С. Тургенева «Первая любовь». 35. Украинский советский поэт. 36. Французский писатель, автор книги — энциклопедического памятника культуры Франции.



„КАТЮША”

1945★1985

Читатель И. А. Астафьев (Курск) просит рассказать о том, почему боевую машину периода Великой Отечественной войны назвали «Катюшей».

Реактивная установка, получившая известность под названием «катюша», — «бесспорно, самое выдающееся оружие второй мировой войны» (Комсомольская правда, 1983, 21 сент.). Утверждалось и утверждается, что имя ему дала всенародно известная довоенная песня «Катюша» (поэт М. Исаковский — композитор М. Блантер).

И все-таки не совсем ясно, почему для обозначения пусковой установки БМ-13 (боевой машины с калибром снаряда 13,2 сантиметра) была выбрана именно эта песня. Ведь пелись до войны и иные, не менее массовые песни. К тому же это уменьшительное женское имя в военной среде использовалось для пазывания и другого вида вооружения: до войны и в войну «катюшами» на флотах неофициально именовали подводные лодки серии «К»: «Наша бригада — вполне жизнедеятельное соединение. В ней три дивизиона. Первый состоит пока из трех лодок — «К-1», «К-2» и «Д-3»... Лодка типа «Д» уже старушка. А «катюши» — великолепные подводные крейсера» (Колышкин. В глубинах полярных морей).

Почему ракетную установку назвали также «катюшей»? И какое отношение к этому названию имеет наука о языке?

Нет оснований отрицать, что легендарная песня сыграла тут свою роль. Но сыграть она смогла потому, что через имя *Катюша* проявил себя определенный словообразовательный способ: образование слов на основе буквенных сокращений. Дело в том, что в технической документации типы машин обычно маркируются ли-

терамв, которые специалисты в своем профессиональном жаргоне стремятся развернуть в полнозначные слова, отличные от тех, которые породили эти сокращения, и удобные для неофициального пользования: подводные лодки серий «С», «М» и «Щ» — «эски», «малютки», «щуки»: «К нам пришли две „эски“ — сначала „С-102“, потом „С-101“»; «Многие командиры „малюток“ плавали раньше старпомами на „щуках“ (Кольшкпн. В глубинах полярных морей); самолет «У-2» — «уточка»: «Аэродром был маленький... стояли четыре старые „уточки“, незаменимые тогда самолеты „У-2“» (Закруткин. Кавказские записки); паровозы серии «ОВ» — «овечки»: «Сомневаясь, чтобы скромная, в рабочем просторечии *овечка* потянула брошированный состав., Сережа выскочил на собрании с горячим призывом дать паровоз помощней...» (Леонов. Русский лес); самолет «АН-2» — «аннушка»: «Из памяти никак не уходило то, позавчерашнее: бюро, и как они... летели в „аннушке“» (Роцин. С утра до ночи); упомянутая подлодка серии «К» (крейсерская) — «катуша». То же наблюдается в обиходной речи: легковой довоенный автомобиль марки «М» — «эмка»: «...осенью дадут мне машину, „эмку“» (Паустовский. Повесть о лесах); автобус маршрута «А» — «ашка», а трамвая — «аннушка» и под.

Как видим, среди этих вторичных названий преобладают слова уменьшительно-ласкательного характера; к ним относится и наша «катуша». К ним же она примыкает и словообразовательно. Мысль о ее аббревиатурном происхождении высказал в порядке предположения маршал артиллерии Г. Е. Передельский: «Возможно, название подсказала стоявшая на установках заводская марка „К“» (Правда, 1981, 3 сент.). В «Военном энциклопедическом словаре» (1983) об этом говорится почти утвердительно: «„Катуша“ — народное название боевых машин реактивной артиллерии во время Великой Отечественной войны. Происхождение этого названия, вероятнее всего, связано с заводской маркой (буква «К»), имевшейся на боевых машинах, и с популярной в то время одноименной песней».

Таким образом, заводской маркировкой «К» и словообразовательной традицией было предопределено, чтобы неофициальное название реактивной установки начиналось — независимо от какой-либо песни — с буквы К; популярная песня подсказала нужное слово. Другими словами, название «катуша» возникло не только на почве лирических ассоциаций, но прежде всего на твердой материальной основе (буква «К» как исходный, производящий компонент).

Первоначально установка, по свидетельству историков реактивной техники, маркировалась иначе, а «... после доработки и принятия на вооружение [лето 1941 года] — «боевая машина БМ-13»,

вли „катюша“» (Победоносцев и Кузнецов. Первые старты); «Командующий артиллерией Западного фронта 2 августа 1941 года доносил командующему артиллерией Красной Армии, что внезапный огонь „катюш“ наносит большие потери противнику» (Военно-исторический журнал, 1970, № 6). Таким образом, слово «катюша» как условное, закодированное обозначение строго секретного оружия родилось не стихийно, а было директивно принято для маскировочного употребления в среде специалистов. По-видимому, женское имя на *К* из песни, которая пелась по всей стране, и послужило искомым кодом. С созданием гвардейских реактивных частей и ошеломляющих успехов нового оружия слово распространилось на фронте, в народе и стало уже уверенно отождествляться с названием песни.

Сорок первый год был началом боевого использования «катюш», сорок второй — началом их славы. Вскоре термин «катюша» попал и на страницы военной художественной литературы: «Подожженные „катюшами“, горели остатки бензина или нефти» (Симонов. Дни и ночи). Так песня стала оружием Победы.

Е. А. ЛЕВАШОВ,
кандидат филологических наук
Ленинград

Рисунок В. Толстоногова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«В последнее время появилось много слов типа *вэлик*, *тэлик*, *мбтик* и др. Не стоит ли заменить ими более длинные слова *велосипед*, *телевизор* и т. д.?»

З. Ю. Ахчурин, Люберцы

Слова *телик*, *велик*, *мотик* и под. относятся к молодежному жаргону. Обычно жаргонные слова в речи отдельных людей живут непродолжительное время и исчезают совсем или замещаются другими. Заменять литературное наименование отдельных предметов жаргонными нет необходимости, да и невозможно, так как живой язык не терпит насильственного вмешательства, а живет и развивается по своим объективным законам.



История, в том числе и история языка, — это факты. А факты показывают, что древние русские памятники письменности не знали слов *гуманность* и *человечность*. Да и не могли знать. В язык эти слова пришли гораздо позднее. Но из этого ни в коей мере не следует, что средневековые россияне, во всяком случае самые лучшие из них, не были гуманными людьми и не проповедовали гуманность и человечность. Проповедовали и почитали, но для этой цели использовали другие слова: *доброта*, *милосердие*, *милость*, *жалованье*, *человеколюбие*. Слова, знакомые и нам, но все же чем-то неуловимо отличающиеся от древних.

Под *добротой* и тогда подразумевалось свойство характера, исключаящее злопамятство, злобу, опирающееся на терпимость и благожелательность. Часто в наивном понимании автора доброта представлялась главной, определяющей добродетелью: «Ни юноши хули, ни стара хвали, — не разньство возраста бывает злоба или доброта, но разньством помысла» (Пчела, конец XIV в.).

Доброта могла означать не только достоинство, моральное качество человека, основанное на сердечном отношении к окружающим, но и самое это отношение: «Другая верна не(с) измены, и не(с) меры доброте его» (там же).

До XVII века активным в русском языке у слова *доброта* было значение «красота, величие, благополучие»: «Погибе град и земля резанская, изменися доброта ея, и отыде слава ея, и не бе в ней ничто благо видети, только дым и пепел» (Повесть о разорении Батыем Рязани, сн. XVI в.). Затем слово перестало употребляться в таком значении, сохранившись лишь в некоторых диалектах.

Иногда под этим словом подразумевались добрые дела, творимые человеком, или праведная жизнь его.

Словом *доброта* определяются в современном русском языке такие качества характера человека, как отзывчивость, мягкость, сердечность по отношению к людям: «Я нередко наблюдал необычное выражение в глазах влюбленных людей, чувствовал особенную доброту любящих» (Горький. В людях).

Очень близок по смыслу *доброте* старославянизм *милосердие* — «сочувствие, сострадание к ближнему, готовность помочь»: «Руце твои яко облак силен, взимая от моря воды — от богатства дому твоего, труся в руце неимущих. Тем и аз вжадах милосердия твоего» (Моление Даниила Заточника, XII в.). Старинный оборот сложен, но мысль, заключенная в нем, проста: руки твои, подобно облаку, собирающему влагу моря, получая свои богатства, отдают, рассыпают их в руки неимущих, потому и я жажду от тебя милосердия, то есть помощи, сочувствия.

Как ни удивительно для средневековых памятников письменности, где существительные абстрактного содержания сплошь и рядом многозначны, для слова *милосердие* упомянутое значение — единственное. А насколько популярным оно было, можно судить хотя бы по частому употреблению его в письмах и посланиях. Например, у Грозного: «И аще бы не было на тебе нашего милосердия, не бе возможно было тебе угонзнути [убежать] к нашему недругу» (Послания Грозного, XVI в.). С тем же значением *милосердие* вошло и в наш язык: «Воспользоваться моим высоким правом помилования я не имел никакого повода и не торопился с этим; я был уверен, что такой случай еще придет во время путины — и вот тогда я пушу в ход мои милостивые полномочия, и народы благословят мое милосердие!» (Лесков. Продукт природы).

Слово *милость* на Руси употреблялось как синоним *милосердия*. Иногда автор произведения писал их рядом, чтобы избежать повторения: «Царь же князь великий, видя казанцев неприклонных к милости его, и ноносящих и гордящихся и о смирении ему невнимающих и на брань уготовающихся, и гнева многа наполнися, и яростию великую разжегся и преже бывшее милосердие к ним на гнев претворяет» (Сказание о Казанском царстве, XVI в.).

Однако этим содержание слова *милость* не ограничивалось. *Учинить милость, пожаловать милостию* означало «оказать помощь». Обычно с просьбой такого рода обращались в письмах к «сильным мира сего» те, кто стоял внизу социальной лестницы и, значит, был безгласен и бесправен: «И ты, государь, милостию своею пожалуй во всяком вспоможение учини... за все твое благо буду бити челом» (Переписка Безобразова, XVII в.). Понятие «добро, добродейание» также могло передаваться словом *милость*: «И собра-

шась безчисленное множество нищих и странных к нему, чающе от него великия милости» (Повесть о Дракуле, XV в.). Бытовало слово *милость* и в значении «жалость» (в сочетании *без милости*), например: «Ни государю зло чинити — без милости казнити; подобает государю милостиву быти» (там же).

В письмах и деловых бумагах употреблялись выражения *искатель твоей к себе милости* — просьба о расположении; *милости прошу* — очень прошу о помощи, благоволении; *предаюсь тебе в милость и жалованье* — обычно заключительная формулировка письма. Они стали играть роль формул в речи: «Ныне у тебя, великий царю, милости прошу, позволь меня отпустить ко отцу своему и матери на время повидаться» (Повесть о Петре Златых Ключей, XVII в.). К таким же формулам относится и обращение *ваша милость*, бытовавшее в то время и позднее.

В значении «милость, благорасположение» широко было известно существительное *жалованье*: «Прошу, государь, твоего жалованья — не вели, государь, в деревнишки мои посылать, чтоб деревнишкам моим от присылатных людей разареным не быть» (Переписка Безобразова, XVII в.). Памятники XVI—XVII веков отражают устойчивое сочетание *милость и жалованье*: «...и вашему пресветлости на вашем великом жаловане и милости подданственно бьем челом» (Вести-Куранты. 1642).

Как показывают словари XVIII—XIX веков, *милость* тогда означало «добродетель, состоящую в отпущении слабостей, в умеренном наказании», иногда — «доверенность, любовь, благоволение». Нашему же современнику ближе и понятнее другое значение средневековья — «доброта, великодушное отношение; добродетель». «Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей за дорогу» (Лесков. Зверь).

Слово *человеколюбие* было известно на Руси в значении «любовь к ближнему, к человеческому роду; милосердие». Чтение памятников даст возможность определить для этого слова и некоторые более частные значения, или оттенки значений, такие, как «доброта», «заступничество». Например: «...заве и врач не всегда по раем и по уветам водит страждущего, и по балям, и по студеницам, хитрость свою и человеколюбие показывая только, но и железом горячим прижигает, и горькие зелья пити дает и грызти дает» (Пчела); «...а если кто станет мимо проходить и не станет освобождать от руки бьющего, с того взять нечто (штраф.— А. С.), и сие человеколюбие ввести в обычай» (Дневниковые записи Нового Уложения, 1768).

Часто благодарность за доброе отношение, оказанную добрую услугу выражалась в письмах так: «Подая тебе, государю моему, бог многолетнее здоровье и свою невидимую милость и с государы-

нею твоею с Огафьей Василевною и со всем твоим праведным домом за ваше государей моих ко мне человеколюбие» (переписка Безобразова, XVII в.).

Слово *человеколюбие* и к нам пришло в своем прежнем значении «любовь к людям, к человечеству; гуманность, милосердие»: «...не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия» (Пушкин. Капитанская дочка).

Справедливости ради следует сказать еще, что слово это не так часто попадает на страницах газет и журналов, в строчках стихов. Впрочем, также непопулярны сегодня слова *милосердие*, *милость* и *жалованье*. Охотнее пишут и говорят *гуманность*, *человечность* — слова более емкие, точные и современные. Но если мы попробуем дать им определение, то обнаружим, что без рассмотренных существительных не обойтись.

Доброта, человеколюбие, милосердие — эти понятия были и остаются в ряду вечных ценностей для русского народа — вольнолюбивого, героического, борца за справедливость — в ряду качеств, составляющих, по определению Ф. Энгельса, «общечеловеческое содержание морали».

А. Г. СТЕПАНИН

Одесса

Рисунок В. Комарова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Различаются ли по значению слова *воспрещать* и *запрещать*? Как правильно сказать: „Курить *запрещается* или *воспрещается*“?»

В. А. Громова, Москва

Между однокоренными глаголами *запрещать* и *воспрещать* смыслового различия нет. Оба они обозначают одно и то же — «не разрешать, не позволять что-нибудь». Однако эти глаголы в современной речи сохраняют некоторые традиционные стилистические отличия. *Воспрещать* — стилистически более книжный, официальный. В разговорной речи можно сказать: «Я *запрещаю* (а не *воспрещаю*) тебе туда ходить». В объявлении, вывеске, табличке уместнее более официальное и категоричное: «Курить *воспрещается*» или «Посторонним вход *воспрещен*».

МЕЛКАЯ СОШКА



В современном русском языке выражение *мелкая сошка* обозначает человека неавторитетного или занимающего невысокое служебное положение. Не вполне ясна, однако, образная основа этого фразеологизма. Существует несколько предположительных его этимологий.

В сборнике М. И. Михельсона «Русская мысль и речь. Свое и чужое» (Т. II, 1903) читаем: «*Сошка мелкая* (иноск.) бедный дворянин, мелкий чиновник, вообще незначительный человек, принадлежащий к мелкой *сохе* (общине), намек на соху — орудие крестьянина землевладельца; соха (стар.) — мелкая община (единица подати)». Таким образом, согласно М. И. Михельсону, переосмыслению подвергается переменное словосочетание, часть именуется по целому: *мелкая сошка* (бедная община) — *мелкая сошка* (член бедной общины).

Подобного толкования придерживается и В. М. Мокшенко (см. его книгу «В глубь поговорки». М., 1975).

В некотором смысле двойственное объяснение дают Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. В. Филиппов в «Кратком этимологическом словаре русской фразеологии»: «*Мелкая сошка* — невлиятельный, незначительный человек (люди). Собств.-русск. От значения слова

соха „человек, имеющий долю земли в обществе“, „небольшая и бедная крестьянская община“. Чем беднее был земледелец, тем меньше была его доля в „сохе“ (Русский язык в школе, 1979, № 4). Непонятно, от какого из двух приводимых авторами значений (или от обоих сразу?) происходит значение выражения *мелкая сошка*. Во всяком случае ясно, что Н. М. Шанский, В. И. Зимин и А. В. Филиппов, как и М. И. Михельсон и В. М. Мокшенико, считают исходным образом значение «земельная община».

Авторы «Краткого этимологического словаря русской фразеологии» приводят и другую возможную версию: происхождение фразеологической единицы «от названия небольшой палки с развилкой, такие палки играли второстепенную роль в крестьянских постройках».

Если принять это объяснение, то придется признать оборот *мелкая сошка* метафорическим. Но такая метафора была бы непонятной для дворян, чиновников и т. п., ведь их вряд ли интересовали особенности крестьянских построек. Неясность внутренней формы не позволила бы выражению закрепиться в языке.

Л. А. Булаховский предлагал иное толкование: «Такое название заключало в себе одновременно синекдоху — целое по части: *сошка* вместо „человек с сохой — крестьянин“, и перенесение по сходству (бедность, забитость и т. п.) с крестьянина на представителей других, по понятиям времени, низких положений и профессий (мелких чиновников и т. п.)» (Булаховский Л. А. Введение в языкознание, ч. II. М., 1954).

У этой гипотезы есть одно уязвимое место. Она оставляет необъясненной роль определения *мелкая*. Это определение не могло относиться к слову *соха* в значении «сельскохозяйственное орудие», поскольку тогда пришлось бы предположить, что крестьянин владел мелкой (т. е. маленькой по размеру) сохой, а, например, крупный землевладелец — крупной, или большой. Если же это определение было употреблено при существительном *соха* в значении «крестьянин», то из всех существовавших в то время значений слова *мелкий* оно, по смыслу, могло обладать только одним: «бедный, незнатный» (см.: Словарь русского языка XI—XVII вв. вып. 9, М., 1982). Однако крестьяне и были беднейшей частью населения (о знатности вообще не могло быть и речи), так что подобное определение было бы излишним. Кроме того, в языке XV—XVII веков прилагательное *мелкий* определяло только существительное *человек (люди)*, если выступало в значении «бедный, незнатный».

По этой же причине кажется неприемлемой и позиция А. П. Мордвилко, который ставит данный оборот в ряд фразеологических единиц, образованных «на основе аналогии между функ-

цией предмета, обозначаемого стержневым существительным, и действием человека (*ходячая газета, мелкая сошка*)» (Мордвилко А. П. Очерки по русской фразеологии. М., 1964). Ведь тогда значение фразеологической единицы можно было бы определить приблизительно как «бедный пахарь», а не «мелкопоместный дворянин, чиновник».

Интересно отметить, что словари XIX века, фиксирующие выражение *мелкая сошка*, вообще не упоминают среди обозначаемых ею людей крестьян, ср. в «Словаре церковнославянского и русского языка»: «мелкопоместный дворянин, бедный помещик», в «Толковом словаре» В. И. Даля: «мелкопоместные, бедные дворяне, или мелкие чиновники, мелочные, маломочные купцы и пр.». Ср. также с приведенным выше определением М. И. Михельсона.

Думается, что семантика фразеологической единицы *мелкая сошка* формировалась с опорой на значение слова *соха* «единица подати» из предшествовавшего ему более узкого «мера земельная (как податная единица)» (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка, т. 3, СПб., 1903). Самый ранний пример употребления в этом значении, приводимый И. И. Срезневским, датируется XV веком. В. Кури указывал, что *соха* долгое время была весьма неопределенной мерой. Ее размеры зависели от местности (самая большая соха была в Московском княжестве) и от качества земли (хорошей земли в соху входило примерно в полтора раза меньше, чем плохой) [Кури В. О прямых налогах в Древней Руси.— Юридический сборник. Казань. 1855]. Следовательно, эта *соха* могла быть мелкой и крупной.

Еще более интересные подробности сообщаются И. Уразовым. Он пишет: «Изменялась „соха“ и от того, кому принадлежала земля. Например, для служилых людей — дворян — в „сохе“ „доброй земли“ считали 800 четвертей, а для крестьян — 500 четвертей, для церковных земель — 600 четвертей» (Уразов И. А. Почему мы так говорим. М., 1956), то есть чем беднее был человек и чем ниже он стоял на социальной лестнице, тем к меньшей сохе он относился. Крупный землевладелец мог иметь несколько сох земли (одна соха равнялась приблизительно 400—600 десятинам). Мелкопоместным же дворянам принадлежала небольшая часть одной сохи.

И. А. Уразов замечает: «В городах „соха“ считалась по числу дворов. Если на „соху“ „лучших“ торговых людей полагалось, например, 40 дворов, то бобыльских дворов входило в „соху“ 960». «Зажиточность и влияние человека определяли степень его доли в „сохе“. Отсюда и кажущееся нам непонятным обозначение незаметного человека — „мелкая сошка“, — заключает И. А. Уразов.

Делая общий вывод о связи значения слова *соха* «условная

единица налога» и фразеологической единицы *мелкая сошка*, И. А. Уразов не разъясняет механизма формирования семантики устойчивого выражения. Видимо, он был таким. Существительное, прежде чем стать членом словосочетания, могло быть переосмыслено как синекдоха: *соха* — «единица подати» — *соха* — «часть единицы подати» — *сошка* — «мелкая часть единицы подати». Тогда прилагательное *мелкая* в прямом значении определяло *сошку* как «мелкую часть единицы подати», а уже затем метонимизировалось все словосочетание, начав обозначать человека, выплачивавшего мелкую часть единицы подати.

Вернее всего, фразеологическая единица *мелкая сошка* возникла в городской среде, так как в крестьянской общине, выплачивавшей соху, все или, по крайней мере, подавляющее большинство крестьян были одинаково незажиточными и невлиятельными. В городе же одну соху совместно могли платить люди разных социальных слоев, одни из которых и оказывались по сравнению с другими *мелкой сошкой*.

В современном русском языке происхождение оборота забыто, но сопоставление его значения со смысловой нагрузкой, которую несет слово *мелкая*, позволяет осознавать слово *сошка* как обозначение человека и создает основание для авторского варьирования: «Вол он... стоит чуть в сторонке, без фотоаппарата. Ну, конечно, разве он допустит, чтобы его приняли за мелкую „фотосошку“» (Чаковский, Победа).

Л. Б. САВЕНКОВА
Архангельская область

Рисунок В. Комарова

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Рукописи для публикации в журнале должны быть представлены в двух экземплярах, напечатаны на машинке через два интервала и подписаны автором.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес и телефон.

Объем статьи не должен превышать 8—10 стр. машинописи. Все цитаты должны быть тщательно выверены автором по печатникам; ссылки даются в тексте, с указанием выходных данных (место, год издания).



ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

■ СТОЙ

А. Н. Васильева из Липецка просит объяснить различные оттенки значения и особенности употребления слова *стой*.

Как известно, *стой*, будучи формой повелительного наклонения, морфологически связано с инфинитивом несовершенного вида *стоять*. В повелительном наклонении, однако, *стоять* ведет себя как двувидовой глагол: его форма *стой* выступает в качестве синонима к формам других глаголов — как совершенного, так и несовершенного вида.

Это связано с различием смысловых оттенков, реализуемых каждым из видов в форме повелительного наклонения, с одной стороны, и характером взаимоотношения совершенного и несовершенного видов в этой форме — с другой.

Лингвистами замечено: приказание, выраженное формой несовершенного вида, воспринимается как более строгое, категоричное, не терпящее возражений. В тексте или предложении, выражающем содержание приказа, повелительному наклонению несовершенного вида поэтому часто или отдают предпочтение, или добавляют форму несовершенного вида для усиления степени категоричности. Например: «Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андрейч! Алексей Иваныч! *подавайте сюда* ваши шпаги, *подавайте, подавайте*» (Пушкин. Капитанская дочка).

Вместе с тем различие по виду в повелительном наклонении передко нейтрализуется. Этим создается возможность для смыслового сближения форм разных видов, что наблюдается как при употреблении формы *стой*, так и повелительных форм других глаголов. Сравните, например, близость по значению и употреблению частиц *пусть* и *пушкой* — первоначально форм повелительного наклонения:

«Василий: То явные. Неявных — не сыскать. Таятся до поры. Иван III: *Пускай* [ср. *пусть*] таятся» (Парпара. Противоборство).

Сам по себе глагол *стоять* связан с обозначением состояния покоя; в форме повелительного наклонения отсюда: а) утверждается или «закрепляется» это состояние, если речь идет о предмете не движущемся и б) оно (состояние покоя) требуется, если речь идет о ком- или чем-либо, находящемся в движении. Сближение по смыслу форм разных видов обычно наблюдается в последнем случае — при описании действий движущихся предметов. Сравните примеры:

«Так думая, старушка обмирала И наконец, не вытерпев, сказала: „*Стой* тут, Параша. Я схожу домой, Мне что-то страшно“» (Пушкин. Домик в Коломне); «Красуйся, град Петров, и *стой* Неколебимо, как Россия» (Пушкин. Медный всадник); «Ты, главное, пока этот старикан будет в пролетку карабкаться,— наставлял его доктор,— у левой пристяжки возле самой морды *стой*. Она — с-скотина, но ты *стой* и держи!» (Урнов. Кони в океане); «Еще издали я услышал слова... „Но, но, *стой*, как велено!“» (Белов. Плотницкие рассказы).

В подобных случаях формой *стой* исключается возможность двигаться кому- или чему-либо (всегда, до прихода собеседника, наступления или окончания чего-нибудь и т. п.), поэтому она воспринимается как соотносительная лишь с инфинитивом несовершенного вида.

Это же можно сказать об употреблении *стой* в сочетании со словами *так и*, *здесь и*, *вот и*, *хоть*, о примерах употребления этой формы с отрицанием, а также примерах, в которых *стой*, видоизменяя сферу своего употребления как повелительной формы, начинает указывать на то, что субъект вынужден или должен заниматься обозначаемым повелительной формой действием. Например: «Тирры! Ты, значит, меня не дождал, пошел? Я тебе сейчас вожжами-то. Тирры! Будешь ты знать Ивана Африкановича! Ишь ты! Ну *вот и стой* по-людски...» (Белов. Привычное дело); «Весь сон с меня так и слетел. Искали,— нет ключа, *хоть стой*, хоть падай» (Белов. Плотницкие рассказы); «Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну! *не стой*, Пошел! Уже столпы заставы Белеют...» (Пушкин. Евгений Онегин); «— А почему ехать мне вправо? — спросил ямщик с неудовольствием.— Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй *не стой*» (Пушкин. Капитанская дочка); «Ах, вижу я: кому судьбою Волпеньея жизни суждены, Тот *стой* [вынужден стоять] один перед грозой. Не призывай к себе жены» (Пушкин. Полтава); «Кто-то едет. Ты *стой* [должен стоять] и смотри» (Урнов. Железный посыл).

Обозначение при помощи формы *стой* исключения возможности двигаться собеседнику в контексте нередко связывается с обозначением удивления, несогласия, припоминания или внезапной догадки — наступления неожиданного «прояснения» в голове говорящего относительно того, что сделать, как поступить или на что обратить внимание в данной или какой-либо другой ситуации. Например: «*Стой, братцы, стой!* — кричит Мартышка — Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите» (Крылов. Квартет); «[У т е ш и т е л ь н ы й:] Нет, брат, *стой!* Ты уж просадил двести тысяч. Прежде заплати, без этого нельзя начинать новой игры» (Гоголь. Игроки); «*Стой!* — кричали другие: — а зачем Ивашко галдит? галдеть разве велено?» (Салтыков-Щедрин. История одного города); «Взяли и завели трактор, поехали по деревне... Вдруг Мишка остановился и кричит: „*Стой, а где моя баба?*“» (Белов. Привычное дело).

При описании процессов, действий движущихся предметов формой *стой* подчеркиваются:

1) если речь идет о предстоящем изменении состояния — необходимость повременить с этим изменением: «Запомни, тот, голубоглазый, Влюблен в тебя. Он друг мой, знай, И не целованный ни разу. Я тоже... — *Стой!* Живи! — ... Прощай!» (Агилин. На волжском берегу) — «погоди, подожди, не надо...»; «Я блинов с рыжиками да с маслом наелся, хочу из-за стола встать. „Стой, Олешка, — тятка говорит. — Сколько блинов штук съел?“» (Белов. Плотничьи рассказы) — «погоди, повремени»;

2) если речь идет о действии (обычно — о действии передвижения) — необходимость (требование) прекратить это действие. И в том и в другом случае легко подобрать синонимичные формы глаголов совершенного вида: «Ш в а н д я (*схватив первого конвойного за руки*). Товарищ, *стой!* Не трать даром пулю, не делай тревоги» (Тренев. Любовь Яровая) — «остановись, не продолжай»; «— *Стой! стой!* — закричал Иван Африканович, но Мишка тарахтел дальше, словно бы и не слышал. — *Стой, говорят!*» (Белов. Привычное дело) — «остановись, подожди»; «Взводный отпрыгнул и бросился в кусты. — *Стой!* Держи его! Держи! Сюда!.. Эй! — закричало несколько голосов» (Фадеев. Разгром) — «остановись, не беги»; «После крика завки: „*Стой!*“, прозвучавшего неожиданно громко, Иванов резко остановился и сел» (Маслов. Феномен из провинции) — «остановись, хватит бежать»; «*Стой, путник! стой!* — вешал певец веков минувших, — Здесь пали храбрые, почти их бравный прах!» (Пушкин. Осгар) — «остановись, задержись»; «*Стой!* пали! Пусть каждый сбросит Черногорца одного. Здесь пощады враг не просит: Не шадите ж никого!» (Пушкин. Песни западных славян: Бонапарт и черногорцы) — «остановись, внимание!» и т. д.

В приводимых примерах, как заметит читатель, оттенки кон-
текстуального смысла формы *стой* (они указываются вслед за при-
мерами и иллюстрируют возможные замены *стой* формами других
глаголов) меняются в зависимости от того, о каком по характеру
действию идет речь.

Н. А. Луценко,

кандидат филологических наук

Донецк

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 6. Ротонда. 8. «Город». 9. Фолкнер. 11. Планше. 12. Люсьен. 14. Виола. 15. Актер. 16. Винокуров. 18. «Дубки». 20. Лаура. 22. «Разбойники». 23. «Телеграмма». 25. Падуя. 27. «Потоп». 30. Аристофан. 32. «Мальш». 34. Луиза. 37. Церера. 38. Алешин. 39. Кобзарь. 40. Ахилл. 41. «Анафема».

По вертикали: 1. Родство. 2. Игрек. 3. Простакова. 4. «Адель». 5. Мемуары. 7. Драма. 10. Ольга. 11. «Пророк». 13. «Наташа». 16. Воронцова. 17. Ваншенкин. 19. Узала. 21. Рембо. 24. Тавтология. 26. «Удалец». 28. Оссиан. 29. Смирнов. 31. Максима. 33. Шерер. 34. Лушин. 35. Баян. 36. Рабле.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. С. ВАЛГИНА, И. Ф. ВОЛКОВ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. И. ГОРШКОВ,
П. Н. ДЕНИСОВ, И. Г. ДОБРОДОМОВ, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ
(главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. глав-
ного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь),
Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ,
Н. И. ТОЛСТОЙ

Зав. редакцией *Т. С. Колмакова*

Художественный редактор *Т. А. Михайлова*

Корректоры *В. В. Беллев, М. В. Рыбина*

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Сдано в набор 12.10.84 | Подписано к печати 20.12.84 | Т-23215 |
| Формат бумаги 84×108 ^{1/16} | Печать высокая. | Усл. печ. л. 8,4 |
| Усл. кр.-отт. 516,6 тыс. | Уч.-изд. л. 10,0 | Бум. л. 2,5 Тираж 60 000 |
| | Заказ 646 | |

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25
2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 6